

Эмилъ  
Стваревъ

ОЛЬВИЙСКИЙ ПРИЧАЛЪ







Эмил  
Синварев

---

ОЛЬВИЙСКИЙ ПРИЧАЛ

---

СТИХОТВОРЕНИЯ

КИЕВ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
«ДНІПРО»  
1991

ББК 84Р7  
Я61

Редактор Т. И. Кордун

**Январёв Э. И.**  
Я61 Ольвийский причал: Стихотворения.—  
К. : Дніпро, 1991.— 247 с.  
ISBN 5-308-0874-4

В итоговой книге поэта читатель найдет колоритные черты южного корабельного города, лирические пейзажи, портреты современников-земляков, воспоминания о военном детстве, строки любви.

Автор стремится раздвинуть границы тем, уже освоенных поэзией. Ему чужды выпренность, красивость,— отсюда и полемические прозаизмы, и балладное построение многих стихотворений, и порой откровенная жесткость интонации.

Я  $\frac{4702010202-152}{M205(04)-91}$  152.91

ISBN 5-308-0874-4

© Состав. Э. И. Январёв, 1991.

## О СЕБЕ

*Я родился в 1931 году в Николаеве и с малолетства купался в Ингуле и Южном Буге, не подозревая даже, что названия родных рек будут когда-нибудь мной зарифмованы. Детство мое озвучено грохотом эшелонных колес: нас, детей, увозили на восток, спасали от фашистской пули. Так в мою биографию вошла Средняя Азия с ее звенящими арыками и гигантскими дынями.*

*Школу я закончил в освобожденном Николаеве, воздух еще пахивал копотью и розами: на месте сгоревших домов тогда разбивали скверы.*

*Потом — Литературный институт (семинар Ярослава Смелякова), учительство в вечерней школе, первая книжка в «Советском писателе» — «Переправа» (1967). С той поры в разных издательствах вышло десять поэтических сборников.*

*Новое время, что началось в 85-м году, дало мне (и разве только мне?) очень много и радостей, и надежд, и тревог...*

*Но об этом еще надо — стихами.*

**Эмиль ЯНВАРЁВ**



Заботы дневные отторгнув,  
как грузчик, устав от работ,  
мой город  
                        слепящий автограф  
вечернему небу дает.  
Небрежный размахистый росчерк  
вокзалов,  
                        мостов,  
  автоград —  
такой,  
                        что в окраинных рощах  
стволы на полянах блестят!



О быстротечность мига!  
Постой! Вернись назад!  
Но все факиры мира  
его не воскресят.

Увянет эта краска,  
погаснет эта тень,  
исчезнет эта сказка,  
отчалит этот день.

Вот почему боялся,  
гуляка, рогозей,  
я славы, и богатства,  
и суетности всей.

Я знал, меня не хватит  
на эти облака,  
что так спокойно катит  
вечерняя река.

Я знал, меня не хватит  
на этих журавлей,  
висящих на закате  
над пустошью полей.

Я знал: весна, и осень,  
и глохнувший ставок  
мне суждены на очень  
быстротекущий срок.

Вот снег осел и тает.  
Вот звездочка взошла.  
И сердца не хватает  
на прочие дела.



## ГОРОДСКАЯ БАЛЛАДА

Какая высокая хата досталась  
Диденчихе Ольге под самую старость!  
Как голову бедную ни задирай,  
увидишь не крышу, а облачка край.

А здесь,  
у подножья высотного дома,  
такие же лавочки, словно в селе,  
и бабушка Паня, и бабушка Тома  
встречают подругу свою на земле.

В сатиновых юбках, в терновых платках,  
садись, приглашают, нет правды в ногах.

У них мужики на войну как пошли,  
так тропку к родимому дому забыли.  
Быльем поросли эти горькие были.  
Быльем поросли —  
только не заросли.

Невестки у них как одна хороши,  
да только зятя вот не часто тверезы.  
А дождик вчерашний когда бы в колхозы,  
какие бы встали пшеницы да ржи!

О хатах, где хлебы, румянясь, пекутся,  
старухи, как в годы былые, пекутся.

Так держится прочно — основа основ —  
тот дух деревенский высотных домов.



Мне почему-то не нравятся эти ребята,  
те, что толпятся сейчас у второго подъезда.  
Стерта их речь, и смеются они грубовато,  
и потешает их то,  
что не так уж потешно.

Чем их заманишь?  
Каким калачом или книгой?  
Чем их разбудишь?  
Каким еще словом-набатом?  
И почему мимо этой ватаги безликой  
с видом всегда прохожу я  
чуть-чуть виноватым?

## ЖИГАРИН АВТОБУС ВЕДЕТ

Жигарин автобус ведет,  
и очень Жигарину нравится,  
что рядом случилась как раз  
одна молодуха-красавица.

Автобус Жигарина стар,  
кабинка облуплена узкая,  
у дверцы,  
  под самым стеклом,  
хохочет звезда голливудская.

Но что ему эта звезда,  
когда в подсиненной косыночке  
дарит молодуха ему  
свои голубые косиночки!

Надеждой себя веселя,  
пыля городскую окраиной,  
Жигарин ведет разговор,  
на тесную дружбу направленный.

Потом молодуха с толпой  
выходит на солнце осеннее.  
Жигарин ей машет:  
  — Привет! —  
и коротко сзади оценивает.

И снова автобус ведет,  
и снова к рулю нагибается,  
и, щурясь, мурлычет мотив,  
и кинозвезде улыбается.

## МОЛНИЯ

Ты сверкнула, молния,  
и погасла сразу.

Может, ты промолвила  
золотую фразу?

Может, это зарево —  
афоризм летучий?

Как мне разговаривать  
с небом,

с ливнем,

с тучей?



Опять у неба нелады  
с нагретой за лето землю.  
Но листья щедро налиты  
почти счастливой желтизною.

И на пороге новых стуж,  
когда ознобом парк протянут,—  
темно  
        от многослойных туч,  
светло  
        от кленов и платанов!

## ПЕРЕВОДЧИК

Я читал стихи глухонемым,  
и стоящий рядом переводчик  
смысл произносимых мною строчек  
жестами до зала доносил.

Я читал о спуске корабля,  
о любовной радости и муке...  
Я читал. Летали рядом руки:  
переводчик — переводил.

Я читал. В ударе, видно, был.  
Тайны сердца щедро рассекретил.  
Но внезапно вот что заметил:  
руки переводчика молчат.

Ну не так, чтоб вовсе, не совсем,  
только ясно, что без прежней прити  
действуют. И я уже в обиде  
был на переводчика. Как так?

Я страдал, зачеркивал, искал,  
он же — пропустил такое место!  
Не слышал, что ли?  
Жалко жеста?  
Что же я впустую хлопочу?

Все же я читал, голосовых  
связок не жалея, — трепетали.  
Все же руки иногда взлетали:  
переводчик — переводил.

Я читал. Я упирал на суть.  
Переводчик был скупым и честным,  
то лишь достаивая жестом,  
что нельзя ни скрыть, ни обминуть.



Вот Нева. Я гляжу на Неву  
в ветровом оловянном развале.  
Я удачно ее назову,  
а ее уже так называли.

Вот медлительные облака  
потянулись дорогою рыхлой.  
Рифма?

Тысячу раз этой рифмой  
завершала движенье строка.

Руки можно над ней простирать,  
пуд бумаги исчеркать,  
но лучше  
не искать ни имен, ни созвучий,  
просто так над Невой постоять.



Суетою сует замордованный  
и последним усильем крылат,  
я приехал к тебе за гармонией,  
подари мне ее, Ленинград!

Облака твои — легкие лики —  
так и светятся в тыщу свечей.  
Отдаю свои южные яблоки  
за безмолвие белых ночей.

Каплю невскую в горсть мою вырони,  
золоченую каплю Невы.  
Прямотою своей меня выпрями,  
высотой своей подними.



## ВСТРЕЧИ С ДРУГОМ

*М. Куценогому*

Позвоню по автомату,  
дескать, свидеться пора,  
и услышу: «Жди на Невском  
у Гостиного двора.  
Впрочем, лучше на Литейном!»  
Наперед согласен я:  
«На Литейном, на Литейном» —  
напевая про себя.

Позвоню по автомату  
и скажу: «Всего верней —  
на Фонтанке или даже  
возле кладтовских коней».  
И услышу: «Ты приехал?  
Ты отсюда? Молодец!  
Можно встретиться на Мойке  
иль на Охте, наконец».

И несемся, как блажные,  
по булыжной мостовой  
мимо Марсового поля  
к Петропавловке самой.  
Даже если опоздаем,  
право, нечего пенять.  
Столько дивных мест,  
где можно  
друга старого обнять!



О, наших мнений стычки  
и спорщиков закал!

А девушки реснички  
чернили у зеркал.

Мы — что-то там о стрессе,  
о кризисе семьи.

А девушки — о встрече,  
назначенной к семи.

И всё! И — за ворота,  
оставив нас одних.

Ведь продолженье рода  
зависело от них!

## ОСЕННИЕ ТАНЦЫ

В. З.

Шуршит танцплощадка плащами,  
включайся, а нет — отвали.  
Дитя танцевальной площадки,  
ах, мне бы заботы твои.

Ударил оркестр, и былого  
и даже грядущего нет.  
Есть темная эта болонья  
и парами скошенный свет.

Кто здесь из двоих обольститель?  
Кто первый сужает круги?  
Блестите, блестите, блестите,  
колдуйте, колдуйте, зрачки!

Ресницы, смежайтесь устало!  
Сражение! Чей перевес?  
Свой здесь законы, уставы,  
свой кодекс и свой политес.

Здесь,  
сжатый до самой до сути,  
словарь однозначно ершист.  
Стоят молчаливые судьи,  
о стену спиной опершись.

Так, значит, покуда я в дебри  
влезал  
    философий и дат,  
кружились болоньи, и девки,  
и серьги  
    столетья подряд.

Так, значит, покуда крушились  
уклады, режимы, цари,  
кружились, кружились, кружились  
оркестры, дома, фонари.

Дитя танцевальной площадки,  
я знаешь чего сотворю:  
махну я рукою — прощайте,  
кружитесь, а я отвалю...



До чего я в этих травах долежался —  
я услышал колокольчик дилижанса!

Дилижансик, приседая на рессорах,  
был нежнейшей акварелью нарисован.

И несли его веселые лошадки  
по дороге, мимо рощи, по лужайке.

Да и вас-то после рока вдруг потянет  
посмотреть на чуть жантильный старый танец.

Вам охота после «ТУ» и после «Волги»  
потрястись хотя бы часик на двуколке.

И чтоб степью хоть немного да запахло,  
выйти в степь, а не к решеткам зоопарка...

Это, видимо, устройство человека —  
вырываться из отведенного века:

чаще — в завтрашний, ракетами рычащий,  
а порою — в дилижансовый, вчерашний.



По тропинкам лесным куролеса  
и порядком уставши к тому ж,  
я случайно забрел в королевство  
добрых глаз, добрых рук, добрых душ.

Еще утром

тревожно ловивший  
на себе неприязненный взгляд,  
я улегся под тоненькой вишней  
слушать доброе пенье цикад.

Ну и край! Ни тюрьмы, ни погоста.  
Ходят люди, крылами звеня.  
Но внезапное беспокойство,  
как заноза, пронзило меня.

Что еще мне, казалось бы, надо,  
отворившему эти врата?  
Не хватало мне твердого взгляда,  
исподлобного взгляда врага!



Ремесленников звали «ремесло».  
Как далеко родимое село!

Застенчивые, тихие, румяные,  
они держались вместе, сообща,  
и с практики

к постелям шли, умаянные,  
дыша дымком столовского борща.

Вот письмецо — его сестра писала:  
о клубе, о соседском Василе.  
А в сундучке еще хранится сало —  
последняя побаска о селе.

А завтра спуск торжественный в заводе,  
и сухогруз сойдет со стапелей,  
и вслед ему

Ванюши и Володи  
замашут всей деревнею своей.



Итак, отчалил сухогруз  
от заводского пирса.  
Он вдруг прозрел.  
Вошел во вкус.  
От наших рук отбился.

Простора местного ему  
теперь, конечно, мало.  
Скользит он медленно в дыму  
рассветного тумана.

А там  
    морей турбинный гул,  
соленых вод лавина.  
И обрывается Ингул,  
как будто пуповина.



## НОВЫЙ ДОМ НА ОКРАИНЕ

Наш дом, одной стеною  
повернутый к степи,  
ты, тишиной степною  
укрывшись, крепко спи.

Ромашками обдуты  
твой покои все.  
Ни быта, ни уюта,  
а только ночь в росе!

В росе она, хоть выжми,  
и в зябком полусне.  
Две звездочки, как вишни,  
повисли на луне.

Наш дом, ты оторвался  
от городских застав  
и, наконец, дорвался  
до этих мокрых трав.

Ты добежал, ты замер,  
ты задрожал от слез,  
услышав слитный зуммер  
сверчков, жучков, стрекоз.

С природою впритирку  
иная дышит новь,  
и форточки притихли,  
процеживая ночь.

Две звездочки искрятся  
из облачного льда,  
и капает из крана  
прозревшая вода.

## КАК ЗАГОРАЮТ ШАХТЕРЫ

Чуть рассветет — уже шахтер  
кемарит на холстине.

Как хорошо!

Над ним шатер  
невообразимой сини.

Как хорошо!

Пред ним вода,  
чуть ветерочком щиплема.  
На море смотрит он всегда  
покорно и почтительно.

«Рубашку, дорогой, надень! —  
ему кричат. — Сгоришь!»

И он сгорает каждый день —  
костляв, улыбчив, рыж.

Всё, что в забое недобрал —  
тепла, вода, света, —  
он доберет теперь. Аврал!  
Июль!

Макушка лета!

Ладони держит в растопыр,  
чтоб дать загар ладоням.  
Кровищу в жилах растопил.  
Блаженствует.

Доволен.

## СВАДЕБНОЕ

Рванула стремительно с места  
вечерних огней карусель.  
Прекрасны жених и невеста,  
прекрасен, конечно, апрель.

Прекрасен кортеж,  
                                подкативший  
к рекламным щитам ателье,  
и шафер,  
                                легко подхвативший  
невесту на грешной земле.  
Почетные гости у входа  
столпившись, нашепчутся впрок.  
Прекрасное, видимо, фото  
вручат им в положенный срок.



Я еще уступаю места старикам,  
да и знаю любовь не из книг,  
но сегодня чернявый один таракан  
маму за руку дернул: — Старик! —  
На меня указал он: — Старик! —

Я застыл

и прикрыл свои веки на миг.  
Этот солнечный день стал мне сразу постыл  
от сутулого слова «старик».  
Я-то думал, что возраст легко обведу,  
никогда в зеркала не глядел.  
У явившихся в мир в тридцать первом году  
свой особый, я думал, удел.  
Почему он сказал так?

Ну да, седина.

Только я ли подобный один?  
Вот седые проходят — и он и она.  
А вон тот на углу гражданин?  
О, характер никак не взрослеющий мой!  
Я мальчишество не разменял.  
Если кто-то свистит за моею спиной,  
я всегда оглянусь — не меня?  
Правда, сердце при беге все чаще сдает,  
и от шумных застолий отвык.

Я в троллейбус вхожу.

Мальчик с места встает.

Да, старик. Да, наверно, старик.



Варят кофе в гостях — бог ты мой!  
А пластинки в гостях! А посуда!  
Но зато возвращенье домой —  
это чудо.

Да, да, это чудо.

Пешедралом, в трамвае, в такси...  
Ну, скорей, ну хотя бы немного!  
Довези нас, земля, донеси,  
дове́ди до родного порога.  
Все. Звоним на своем этаже,  
ключ в замочную скважину тычем.  
По людским ли законам, по птичьим —  
мы вернулись, мы дома уже.

## СТАРАЯ АЛЛЕЯ

Ну вот и сюда добрались!  
Бульдозеры, будто зверея,  
набросились — поберегись! —  
на старую эту аллею.

...Здесь был я счастливей других,  
смуглее, худее, забытей,  
слагая одический стих  
войны и дальнейших событий.

Дитя этой ранней земли,  
смотрел я на мир лопухо,  
где тополи

                                глухо мели  
метелицу теплого пуха.

Покаюсь в одном из грехов:  
тянусь потому еще

                                к ним я,  
что здесь на одном из стволов  
мое было детское имя.

И пусть далеко-далеко  
я был от родного предела,  
оно высоко-высоко,  
как память о прошлом,  
                                шумело...

## БАБА ЛИПА

Сколько лет уже кануло в Лету!  
Но людская молва донесла,  
что артисткою кордебалета  
эта злая старуха была.

Вот сидит она в холоде клубном  
и с начальственных грозных высот  
голосищем

зловещим и трубным  
длинноногих танцорок несет.

Современные эти сирены!

Так подпрыгнут —

трясется настил.

Ноги, что тут понишешь, — отменны,  
только крыльями бог обделил.

Все ругаетесь с бабою Липой,  
а она бы, когда бы могла,  
вам не только что опыт великий,  
но и крылья свои отдала.

Как волшебно они трепетали!  
Как влекли за собой записных  
Дон Жуанов!

(Но это детали.)

Отлетали. И хватит о них.

Ах, от мыслей бы этих подале!  
Но замолкла, почти не дыша,  
вспоминая

ногами в подагре  
тех немислимых лет антраша.

## ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА

Зол на соседа и зол на меня.  
Зол на жену. На свою и — товарища.  
Смотрит почти ненавистно, тараяще,  
жмурясь,  
как будто стоит у огня.

Весь из шипов и обидных острот.  
Были друзья — разбежались, бездарные...  
Несовершенно и ты, мироздание!  
Счеты с тобою еще он сведет.

В общем, дабы огрызаться и грызть,  
надо здоровье иметь лошадиное.  
Но подступает терзание дивное,  
и в скипидар окунается кисть.

Кругло мгновенье, и вечность кругла,  
небо и дерево залиты охрою.  
Травы весенние ахнули, охнули  
и распрямились, почуяв крыла.

Киноварь делает дело свое!  
А за окошком  
вечерние, алые  
были прохожие — сделались ангелы,  
так неожиданно стало светло!



## ИЗ ЛАТЫШСКОЙ ТЕТРАДИ

### 1. Юрмала

Бежит щекоча муравей по лодыжке,  
скворцы гомонят за веселой пирушкой.  
Что сосны мне шепчут тайком по-латышски,  
березы тотчас переводят  
на русский!

### 2. Диалог

#### *Домскому концертному залу*

- Вы побывали в Домском соборе?
- Мы побывали в Домском соборе.
- Что же вы слышали в Домском соборе?
- Счастье и муку. Радость и горе.

В буре органной мощно звучало  
вечной весны молодое начало.  
Тут же поникшую душу смущали  
ноты отчаяния и печали.

Не умолкая, пели в соборе  
рощи и пашни, небо и море,  
но, омрачая слитное пенье,  
ввысь возносились скорбные пени.

— Значит...

— А то оно, видно, и значит,  
что человек и смеется, и плачет,  
истины алчет, бродит смурной —  
с миром, а чаще с собою в раздоре...  
Что же мы слышали в Домском соборе?  
Слышали музыку жизни земной!

### 3. Старая Рига

Старая Рига —  
старая книга.  
На обресе — позолота...  
Кожаного переплета  
буколический узор  
завораживает взор.  
Где замочек золотой,  
там и ключик завитой:  
поверни разок,  
отомкни замок  
и откроешь книгу,  
и полюбишь Ригу —  
молодую,  
старую,  
с дайною  
и с тайною...

### 4. По мотивам старинных дайн

С. П. Антонову



Шепну я о милome своем  
синичке да пчелке.  
А люди узнают о нем —  
пойдут кривотолки.  
Пусть слушают липа и вяз,  
луга, косогоры.  
А люди услышат — как раз  
пойдут наговоры...



Ветер дует, в море — качка,  
плачет матушка-рыбачка.  
Стоном стонет, причитает,  
на глазах, как свечка, тает.  
Море лодку утянуло...  
Неужели — утонула?  
Сердце горестное рвется...  
Неужели не вернется?  
Как же не рыдать ей,  
седенькой голубке,  
ведь сынок не в зыбке —  
в лодочке-скорлупке!



- Что, матушка, ищешь?
- Сухую земельку.
- Что, матушка, стелешь?
- Сырую постельку.
- Дозволь мне подняться  
на этот холмочек...
- Не надо, кровинка,  
не надо, сыночек.
- Ты мне отвечаешь  
так странно, так странно.
- Не надо, родимый,  
тебе еще рано...



Раньше

как человек уходил  
навсегда? Оставалась работа.  
Оставались три стареньких фото,  
да пижама, да склянка чернил.

Вспоминайте, о чем он писал,  
что он думал, по фото гадайте.  
А пижаму соседу отдайте —  
он бы так посоветовал сам.

А сейчас я уйду да не весь:  
есть слова мои

в магнитофоне,  
кинолента, где снят я на фоне  
бледноватых грузинских небес.

Запустите магнитофон,  
и когда застрекочет проектор  
и на стенке появится некто,  
кто-то скажет из тьмы: — Это он!

Это я!

В эмпиреях парю,  
травкой землю весной пробиваю,  
но и с вами, друзья, пребываю,  
но и с вами, друзья, говорю.

## СЫН

Сын приходит в полдень,  
«здрасьте» говорит.  
Лоб горяч и потен,  
отрепленный вид.

Мы садимся рядом,  
виноград едим.  
Долгим-долгим взглядом  
я слежу за ним.

Тени две на стенке,  
сына и моя.  
— Как твои оценки? —  
спрашиваю я.

Он дневник потертый  
открывает сам.  
В клеточках пятерки,  
но и тройки там.

Я его за тройки  
сдержанно корю,  
тихо я и строго  
дело говорю.

Сын в ответ кивает:  
понял, мол, учту.  
Ягодку срывает  
и несет ко рту.

А потом неловко  
у дверей стоит.

— До свиданья,— с легким  
вздохом  
говорит.

Он бегом пустился,  
именно бегом.  
Вот уже он скрылся  
вон за тем углом.

## ЗОВ

Врачи не торопили,  
а няни мне радели.  
Сидел я в терапии  
у маминой постели.

Дышала мама часто,  
смертельным потом крылась...

Больничное начальство  
со мной  
почти смирилось.

И на меня вниманья  
уже не обращали  
Прасковьи,  
Дуси,  
Мани —  
стонали и кричали.

Однажды мать очнулась,  
глаз на меня скосила,  
слегка ко мне качнулась:  
«Умаялся? — спросила.—  
А мне как будто легче,—  
с опаскою сказала.—  
Какой хороший вечер!  
Иди, сынок. До завтра».

Она сомкнула веки,  
а я побрел устало  
к троллейбусу...  
Навеки  
ее в ту ночь не стало.



Соседи по палате  
сказали мне о том, как  
она, привстав с кровати,  
звала меня негромко.

Уже перед рассветом,  
когда окно прикрыли.

О, лучше бы об этом  
они не говорили!

Отбросив одеяло,  
стараясь, чтобы тише,  
она ко мне взывала,  
а я ее не слышал.

Все будет мало, мало,  
как горько б ни терзался:  
звала проститься мама,  
а я не отозвался.

## БЕЗ МАТЕРИ

1

Оказывается — дышу,  
оказывается — пишу,  
оказывается — могу  
привыкнуть и к этой ноше.  
Но вдруг среди бела дня  
ударит: не ждет меня  
мама, что так ждала  
с утра и до самой ночи!

Ладони мои мокры,  
подушка моя мокра,  
отпущены тормоза,  
я сдавленно плачу, плачу...  
Ты выдумать плоше, жизнь,  
наверное, не могла:  
для мамы я значил все,  
а что я без мамы значу?

2

Сто старух начеку  
и на самом краю  
жизни

верят в судьбу до конца.  
Сто старух занесли в картотеку свою  
имя, возраст и адрес отца.

В гастрономе случайно его узнает  
та, с кем в двадцать каком-то году  
составлял он отчет.

— Неужели отчет?  
— Вы забыли? — (Несет ерунду).

И одна опекунша уже семенит  
относительно стирки белья.  
А отец на нее с подозреньем глядит,  
ибо знает: она без жилья.

— Все! Довольно! Пора прекратить  
наконец! —  
произносит угрюмо отец.  
И на кладбище гордо везет мой старик  
запоздалый букетик гвоздик.

3

Тот же самый дождь с утра,  
в ту же раму бьется ветка.  
Та же древняя игра  
струй прерывистых и ветра.

Той же самой кадки всхлип  
под трубою водосточной.  
Тех же самых юных лиц  
влажный шепот беспорочный.

В то же самое окно —  
те же самые туманы.  
Те же, тот же, та же,  
но —  
после мамы, после мамы.



Домашний гений и мудрец,  
за утешеньем и советом  
ко мне является отец...  
(Кто и подумал бы об этом?)

Он был от века нелюдим,  
сокрыто в мире жил подлунном.  
И я ему необходим?  
Опять же — кто бы и подумал.

Он розу чайную несет  
и внучке тычет шоколадку,  
и сто сомнений и забот  
выкладывает по порядку.

— Отец, — вещаю, — так и так! —  
А он перечит: — Может, этак?  
Серьезный шаг! —  
А я: — Пустяк. —  
И он: — Ну ладно! — напоследок.

Его смятенная душа  
чуть поутихнет, остывая,  
и мы шагаем не спеша  
и под навесом ждем трамвая.

Слежу: седая голова  
плывет среди прочих по вагону.

...Когда бы мать была жива,  
он все решил бы по-другому.

## ОФОРМЛЕНИЕ РУКОПИСИ

Все мои первые рукописи,  
их, признаться, было немало,  
переплетал отец.  
Почему-то я был уверен,  
что издательства принимают  
только рукописи в переплетах.

Я приносил отцу-переплетчику  
пачку машинописных страниц  
и смотрел,  
как, скептически улыбаясь,  
он обрезает картон,  
выбирает нить посуровой,  
как постукивает молоточком,  
как заваривает клей...

Рукопись получалась такая  
аккуратная и красивая,  
что на почту нести было жалко.  
Я нисколько не обижался,  
что отец буквально ни разу  
не проявил любопытства,  
не попытался узнать,  
какими словами  
готов удивить человечество,  
именно все человечество —  
ни больше, ни меньше —  
сын, то есть в данном случае — я...

Он смотрел на свою работу  
восхищенно! Так смотрит мастер  
на изделие рук своих.

А сейчас я свои бумаги  
отсылаю в конторских папках,  
в этих, знаете, канцелярских,  
по пятнадцать копеек штука,  
бормоча, что сойдет и так.



До прощального грома, до ливня  
равновесье

душой овладело.

Переполнена влагой давяльня,  
и в цене ремесло винодела.

Хоть бы малость еще погодила!  
Но по ближнему холму-горбочку  
осень сдвинула и покатила  
ту беззвучную винную бочку.

Разлетелся

за обручем обруч,

развалились

сосновые донья,

и, зажмурившись, лес-оборвыш  
смокчет это питье молодое.



Привыкший к ежедневным дивам  
то в жизни, то в мечтах,  
поэт и должен быть счастливым.  
Счастливым. Только так!

Судьба, бывает, так излупит —  
попробуй припевать.  
Но как он простодушно любит  
в счастливцах пребывать!

И слезы катятся все чаще —  
вовсю, вовсю, вовсю  
по искаженному от счастья  
упрямому лицу...





На все, как кисея, наброшен май,  
бежит тропа вокруг пруда ночного...

Она и он. А о любви — ни слова.  
Перегорело.  
Ангел мой, прощай!

Читаешь Брэдбери?  
Фантастику читай:  
Тургенева, к примеру, Гончарова.



Меня спрашивают,  
  почему  
нашу кроху, худышку бледную,  
я тащу в эту школу балетную,  
от которой — пот по челу,  
от которой — дрожат коленки  
(что — в чтецы ее не могли?).

О взыскующие коллеги,  
вопрошающие мои!

Слишком я тяжело бреду,  
милю  
одолевая за милей.  
Легкость  
                                  не обрету,  
не отращу крылий.

Держит ревностно, как магнит,  
к башмакам притертая почва.

Пусть она высоко летит  
невесомой пушинкой,  
дочка!

## В ОБЩЕМ ВАГОНЕ

В общем вагоне, бегущем до Фастова,  
дочь моя новыми песнями хвастала.

Пела,

к мешку прислонясь и корзине:

«Якби я мала крила орлині...»

В общем вагоне мы, в общем, не ропщем,  
мы улыбаемся рекам и рощам.

Здравствуйте в мире, осенние хаты!

«Якби я вмiла лiтати...»

Дочь моя милая, все-то я думаю,  
так ли простились мы с бабою Дунею?

Там, в толчее, на базаре-вокзале,  
расцеловались, да все ли сказали?

В общем вагоне, бегущем до Фастова,—

то-то колесного грохота частого,

то-то за окнами желти и дыму!

«Я полетiла б на Україну...»



Каждое утро,  
когда я бегу по дорожке,  
огибая сосновую рощицу,  
я встречаю этого человека.  
Грузно припадая на левую ногу,  
он бежит  
по часовой стрелке,  
я — против,  
и покамест он замыкает круг,  
я успеваю — три круга.  
Вот и встречаемся несколько раз  
в течение получаса.  
Едва он появится  
из-за деревьев  
(то ли изнашивает протез,  
то ли к нему приучает культу,  
а может, и то, и другое),  
я замедляю бег,  
начинаю дышать тяжелее,  
тело мое на глазах тучнеет.  
Это продолжается ровно столько,  
пока мы не минувем друг друга.



Дочь возникла из ночной темноты,  
и от сердца, наконец, отлегло.

— Не тревожься, это я...

— Это ты?

Расслабляюсь, улыбаясь легко.

На дворе еще звучат голоса,  
танцплощадка за домами гремит.

Остывая, шелестят небеса.

— Захотелось почитать,— говорит.

— Молодчина,— говорю,— что пришла.

Книгочей неисправимый,— хвалю.

— Доброй ночи!

Ночь добра и тепла.

Свет гашу.

Гляжу на звездочку.

Сплю.

## В ПРАЧЕЧНОЙ

В Доме быта все в порядке:  
пар, бурление воды.  
Все прорехи, пятна, складки,  
как ни прячь, насквозь видны.

Из машины из гладильной,  
накрахмаленно звеня,  
тайной, чуть ли не интимной,  
выползает простыня.

Подсоблю своей соседке  
вентилек отдать тугой.  
Как зовут ее, по метке  
угадаю бельевой...

Между прочим, труд отдельный  
здесь не очень-то в чести.  
Здесь витает дух артельный  
с девяти и до шести.

Здесь витает сокровенный  
ангел редкой доброты,  
но за паром,  
но за пеной  
не видны его черты.



Измельчанье приходит не сразу.  
Вот какую-то пошлую фразу  
уловил

и не дрогнул твой слух.  
Вот и сам под всеобщее ржанье  
небылицы одной содержанье  
излагаешь, насилуя дух.

Вот уже для общенья пригоден  
востроглазый один пустобрех.  
Измельчанье не сразу приходит  
и не сразу врезает под вздох.

Ненароком опомнишься: плохо.  
Но хохочешь, сомненья гоня,  
и боишься высокого слога  
и возвышенных чувств, как огня.

## КАК БЫСТРО

Как быстро те девочки,  
что нравились мне когда-то,  
выдали замуж своих дочерей!  
Когда я встречаю подругу  
послевоенной юности,  
идущую с дочерью,  
и подруга мне изливает душу  
(о школьной нагрузке,  
кооперативе,  
о даче, которую можно  
купить по дешевке),  
я слушаю и  
(весь внимание)  
покачиваю головой,  
а смотрю потихоньку на дочь,  
то есть, как говорится,  
бросаю на нее «косяки».  
Как похожа она на маму  
сорок восьмого года!  
На маму, которая выбегала  
из двери девятого «А»,  
на маму, которую после уроков  
подстерегал возле школьных ворот  
выпускник из десятого «Б»...

Не ревнуйте меня, подруги  
сорок восьмого года!  
Видно, верен я вам до сих пор,  
если тридцатилетье спустя  
я на ваших смотрю дочерей  
и не могу насмотреться!





Уже на деревьях не держится листва,  
и сыростью несет от грязно-желтых пожней.  
Не бойтесь говорить от первого лица,  
не ставьте «мы», где «я» звучит куда надежней.

Все, что посеял сам, под осень сам скошу,  
я сам держу ответ за слово и за дело.  
Вы скажете свое, а я свое скажу  
и постараюсь так, чтоб за сердце задело.

## ОТКРЫТЫЙ УРОК

Светились медово листья  
и пахли до одуренья.  
Уроками бескорыстья  
одаривали деревья.

Река в леденистой корке  
спала,  
        ото сна теплея,  
и были это уроки  
чаянья и терпенья.

Пологой горы кустистость,  
дороги степной неровность...  
Какая во всем открытость,  
распахнутость, сквозняковость!

Открытый урок не в школе,  
а прямо в открытом поле,  
ливнями перемытом,  
на тысячу верст  
        открытом.

# КАЛЕНДАРЬ

1

Вдруг вспомнил — надо жить!  
Закрашу завтра проседь,  
попробую отбросить  
заботы, может быть.

Попробую легко  
и просто улыбнуться  
в открытое, как блюдце,  
девчоночье лицо.

Костюм бы надо сшить,  
пальтишко на ватине.  
Строчил,  
спешил в витии,  
вдруг вспомнил — надо жить!

2

Уже чешуйка сосняка  
пошла слезиться.  
К реке, хмелея с ветерка,  
прошла лисица.

Ее обвислый хвост багров...  
В узорах скважин  
усталый ледяной покров  
зыбуч и влажен.

Обломок старого багра  
торчит из снега.

«Урал» — орут грачи.  
«Урал» — разносит эхо.

3

Эти клены в укромном квартале,  
эти кроны на свежем ветру...  
Но особенно в мае, вначале,  
междометия не подберу!

Эта, полная влажного бреда,  
молодая в лазури листва...  
Словно друг сокровенный не предал,  
строчка найдена,  
мама жива!

4

О, счастья крохотный намек!  
О, как возвышенно и гордо,  
когда спасительный комок  
подкатывает к горлу!

Что на экране?  
Так, пустяк:  
улыбка,

одинокость,

платице.

Но чувствуешь — сейчас покатятся  
невидимые — в полумрак.

Не камень все-таки за пазухой,  
не рушь, не зелие ярыг —  
пока еще слеза в запасе  
про черный день.  
На крайний миг.

Ну и жарница! Поистине — адова!  
Только бросаться и ею не надобно.

Полдень, закрученный плотным жгутом,  
не повторится ни разу потом.

Блеклых небес раскаленные своды —  
это недолгое чудо природы.

Южного Буга ночная испарина  
нам на одну только жизнь и подарена.

6

Что толку выискивать боль  
и слезы-горчинки  
в строке, отутюженной столь,  
что нет и морщинки?

Ухоженно-ласковый стих  
родится у бардов  
на уровне  
                                пусть мировых,  
но все же стандартов.

7

Ах, девочка эта!  
Увидишь и ахнешь, ей-богу!  
Но вместо «все время»  
она говорит «всю дорогу».  
— Вчера всю дорогу  
купалась у нового моста...  
(Губастая фея



*Не дадут* — ободряется сердце.  
И сжимается в страхе:  
*дадут...*

10

Наконец, удостоен — хула!  
С тою злобой, себя выдающей,  
от которой внезапно дела  
вдруг подвинулись  
к истине сущей.  
Может, просто прибавилось сил  
под враждебно нацеленным взглядом.  
Может, помню, кого он хулил,  
и себя становлю с ними рядом?  
Значит, стоим чего-то и мы.  
То, что пишем, выходит, читается.  
Мы живые еще, черт возьми!  
Милый враг мой,  
с меня причитается.

11

После лета земля остывает:  
телебашня, базар, мостовая,  
стадион, танцплощадка, депо  
отдают нажитое тепло.

Холодеет поверхность арбуза...

Только Муза, беспечная Муза  
рукавичек и шарфа не вяжет  
и, прощальной лазурью жива,  
загорелое плечико кажет,  
неразумные шепчет слова!

12

Глазами в глаза  
и ладонью в ладонь,  
под звездами, как в терему...  
Наивные речи лепечет любовь,  
а мудрые ей ни к чему.  
И правда —  
зачем ей глаголить умно  
и морщить насуписто лоб?  
Пусть лучше бормочет  
не в лад и темно,  
бессвязно, счастливо, взახлеб.

13

Ни рассказывать,  
ни доказывать  
я не буду любовь.  
Буду разве что взглядом указывать:  
дескать, это любовь.

Ни метафоры,  
ни эпитета  
суетня не нужна,  
если гордо и ослепительно  
светом плещет она!

14

За больничным окном — благодать:  
там для глаза обилие пицци.  
Там вода дождевая хлобыщет  
так, что дня сквозь нее не видеть.

Там напористо и впопыхах  
и как будто по тайному знаку



выворачивает наизнанку  
ветер  
зонтики в женских руках.

Водостоки пошли лопотать,  
небеса начинают слоиться.  
В мокром воздухе —  
  мокрые лица!  
За больничным окном — благодать.

15

Еще такое в жизни  
порой приметит глаз,  
что надобно об этом  
сказать последний раз.

Еще такая в душу  
протиснется печаль —  
не жаль листка бумаги,  
да и слезы не жаль.

Еще такая радость  
обдаст, пускай на миг,  
что эхом отзовется  
и встрепетнется стих.

16

Давай после распри дневной  
мы в город завьюженный выйдем  
и снежной пройдем целиной,  
а дальше — увидим.

Летящая наискосок  
метель наши страсти остудит

и нас примирит на часок,  
а дальше — как будет.

За рощей сырой первопут,  
у берега свежая наледь  
нас общим восторгом сведут,  
а дальше — кто знает...

*17*

Ты можешь преподать еще один урок,  
заставить жестко спать,  
  хотя и мягко стелешь,  
но, как писали встарь,  
  о, всемогущий рок,  
уже ничем меня ты не обделишь!

Обрубишь ли мою поденную борьбу  
иль исподволь нашлашь какие хвори,—  
я женщину любил,  
я слышал птиц в бору,  
я дочь ласкал,  
я видел море.



Как там было?  
Что там было?  
Чем все это завершилось?  
Все, что было, то не сплыло,  
если в строчки отложилось.

Что нам книжные герои  
и актерские румяна!  
С нами было, брат, такое —  
не узнаешь из романа.

И фантастика — скисает,  
и риторика — охрипла,  
но, как раньше, потрясает  
деловой язык архива.

За окном торгуют пивом,  
впопыхах справляют свадьбы.  
Напрягает память Пимен:  
как там было?  
Не соврать бы!

## ДОВОЕННАЯ КУПАЛЬНЯ

Тополиных крон вскипанье,  
их серебряных пучин.  
Довоенная купальня —  
специально для мужчин.

Свежий запах мокрых досок  
и прибрежного песка.  
Раздевается подросток  
на закраинке мостка.

Пахнет дикою травой,  
пенной легкою волны.  
Никакой еще тревоги,  
никакой еще войны.

Майским ветром  
  волны взрыты,  
разогретую весной,  
и мотивом «Рио-Риты»,  
и ребячьей возней.

Яхты  
  белые обновы  
на свежак спешат унести.

Все смеются,  
все здоровы,  
руки есть и ноги есть!

## ВОСПОМИНАНИЕ О ТУРНИКЕ

Он выбегает из той квартиры,  
где пианино и керогаз.  
А мы — мальчишки, а мы — задиры  
с него покорных не сводим глаз.

О, этот город в глухом тумане,  
где все дороги ведут к реке!  
Одно из светлых воспоминаний —  
воспоминанье о турнике.

Она, бывало, едва проснется —  
и с помидором летит во двор.  
Он крутит «солнце»,  
он крутит «солнце»,  
ее поклонник и ухажер.

Еще ни ночью, ни утром ранним  
их не видали — в руке рука.  
Еще не стало воспоминаньем  
свиданье это у турника.

Он крутит «солнце»,  
красивый, юный,  
она смеется, свежа, крепка.  
А день воскресный того июня  
уже багрово зажгла река...

## МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

...Но мир еще сквозил листвою,  
и полнозвучной, и горячей,  
и над пропавшей головой  
еще никто не бился в плаче.

И строфы вещие опять  
кружили над ночным Арбатом.  
Но предстояло жизнь отдать,  
чтоб дописать их  
в 45-ом.

## БАЛЛАДА О ВАЛЮТЕ (1941)

На меня, на вагон — «мессера»!  
То звучнее, то тише.  
Та-та-та!

И тотчас —  
ра-ра-ра!  
Словно плетью по крыше.

Бомба в насыпь врезается.  
Ух!  
Насыпь взрыта и вздута.  
В трех вагонах детишки,  
а в двух —  
разместилась валюта.

На восток — государственный банк.  
На восток — ребятишки.  
Бомбы слева и справа — бабах!  
Разом — громче и тише.

Из валюты и дым и огонь,  
разом — бомба на бомбе.  
И тогда отцепляют вагон,  
тот, где пломба на пломбе.

Паровозик одышливый «Ща»  
снова начал — локтями,  
и перроны, кустами треща,  
за окном пролетали.

И подсолнухи низко брыли  
от жары наклонили.  
Так валюту тогда не спасли.  
А нас — сохранили.



На станции, богом забытой,  
еще и не встретишь войну,  
целует солдат неубитый  
свою молодую жену.

Нечаянный случай — не боле:  
два поезда рядом стоят.  
За рельсами —  
                                хлебное поле,  
над полем  
                                беспечный закат.

Смеется она, не дается,  
рукой упирается в грудь  
и плачет.  
                                И снова смеется,  
чтоб смехом себя обмануть...





«Юнкерс» тенью рыскал по стерне —  
хлопчика высматривал уедливо.

Я-то не участвовал в войне,  
но она,  
война,  
не знала  
этого!

В кукурузе прятала густой,  
пулеметной строчкою гвоздила,  
тешила балавдою пустой...

До сих пор не отпустила.

## ИЗ ДЕТСТВА

Полыханьем листьев палых  
все вокруг освещено.  
Был когда-то Шура Пантух.  
В детстве был.  
Давным-давно.

По брусчатке наших улиц,  
неизысканно одет,  
он ходил, чуть-чуть сутулясь,  
мальчик, юноша, аскет.

Упоенно, словно в Мекку,  
книг страницы вороша,  
шли мы с ним в библиотеку,  
дай бог память,— в Дом врача.

Было зелено, тенисто,  
было солнечно, светло.  
Птичьим шорохом и свистом  
листья клена замело.

Шура!

Он стоит, растерян,  
под щебечущим шатром.

И фашистами расстрелян  
год спустя — в сорок втором.

## ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОБЛАКАХ

Грохот станций,  
поездов затор —  
все судьба мальчишечья впитала.  
Мало было молока. Зато  
облаков хватало.

Украина подарила мне  
круглые, литые, кучевые,  
кочевые, в общем, фронтовые,  
их края обуглились в огне.  
Беженцы распатанных небес!  
Их сменили быстрые и низкие,  
облака могучие, российские,  
с ливнями наперевес.

И на эти струи вдоль путей  
я смотрел почти ошеломленно.  
Был я старожилом эшелона,  
полного солдаток и детей.

Как глаза трудились неустанно!  
А потом, смягчая летний зной,  
облака Узбекистана  
поразили белизной.

Забирали высоко и круто  
и с того слепили висока  
над хлопкосовхозом «Баяутом»  
хлопковые облака.

То дворцы, то кони, то руины...  
А одно, пробитое насквозь,  
может быть, я думал, с Украины,  
раненое, добралось?

## **ВОСПОМИНАНИЕ О БЕК-МУРЗЕ**

**(1941)**

**Гром меня разразил,  
небо ливнем омыло сиреневым.  
Бек-Мурза разрешил —  
и скачу я верхом  
на игреневом.**

**Лужи — вдрызг на куски,  
на осколки, вдогонку летящие!  
Только ломит виски  
от простора, от воли, от Азии.**

**Понукаю коня  
на закате под звездочкой стынущей.  
Вы ищите меня  
на Украине, под ворогом стонущей.**

**Там война, там беда,  
там горят города подневольные.  
Посылайте туда  
сообщенья свои треугольные.**

**Изо всех своих сил —  
к полустанкам, вишневым, обрушенным.  
Бек-Мурза разрешил —  
самый главный в хозяйстве конюшенном:**

**В хвост, и в гриву, и в кость,  
так, чтоб морда лошажья запенилась:  
утолить свою злость,  
накормить свою детскую ненависть...**

Не успею, хоть плачь:  
конь извелся, затянут подпругою.  
...Обниму карагач  
и завою степною зверюгою.

С дальних горных вершин  
надвигается мгла предзакатная.  
Бек-Мурза разрешил!  
Но — такая земля необъятная...

## ЭТЮД 42 ГОДА

Как отчаянно легко  
ты решила, мать,  
на парное молоко  
свой платок  
сменять!

Нынче гарусная нить  
нам не ко двору...

Выменяешь — буду жить,  
если нет — помру.

## ПЕСНЯ

*М. Лисянскому*

В году сорок втором  
в совхозе «Баяут» —  
жара, жара, жара...  
Не отпускает, лют,  
зной с четырех сторон  
сегодня, как вчера.  
И что попишешь тут?

А, собственно, писать  
нам нынче не с руки:  
захлопнута тетрадь,  
и хлопок убирать  
идут ученики...

Совхозная земля  
и, как в снегу, поля —  
белы и широки.

Я трезво понимал,  
как безнадежно мал  
мой опыт. Никакой  
я нормы не давал,

хоть целый день-деньской  
над хлопком колдовал,  
спины не распрямив.  
Тут важен был порыв —  
не славы ореол!

Тогда-то и прошел  
по «Баяуту» слух,

мальчишек окрылив  
(и, видно, женский пол,  
но этого — наив! —  
я не подозревал,  
к чужому чувству глух),  
что некий лейтенант,  
и фронтовик, и франт,  
дорогою на фронт  
(был ранен в грудь! Не сдал  
и выдюжил... Орел!)  
к родне на полденька  
проездом заглянул.

Того фронтовика  
нашла физичка вмиг.  
И дрогнул фронтовик,  
и в школу обещал  
придти хоть на часок.  
Пришел, не обманул!

Уверенный басок,  
подвижен, худощав...  
Ремни и сапоги,  
и на боку планшет,  
упругие шаги...  
Теперь-то ясно мне,  
что было моему  
герою двадцать лет.  
Но быстро на войне  
взрослеть пришлось ему.

Подтянут и красив,  
хотя и очень худ.  
— А знаете, — спросил, —  
что на войне поют?  
Мы выдохнули: — Нет! —



Тряхнул он головой  
И вдруг пропел куплет  
о битве под Москвой.  
О ней, о золотой,  
он пел, что не сдадим,  
и, ухватив  
мотив,  
мы пели вместе с ним.  
О ней, о дорогой  
столице из столиц,  
чьи стены не сдались  
и люди не сдались.

Рукой нам знак давал  
серьезный лейтенант,  
и в каждом открывал  
он певческий талант.  
Физичка, заалев,  
по-девичьи мила,  
восторженно припев  
к финалу повела,  
счастливых не сводя  
с того героя глаз...

Она была дитя,  
что ясно мне сейчас!

Не кончив институт,  
уехав из Орла,  
нам физику она  
преподавала тут  
и всех смогла увлечь.  
Но не об этом речь.

Мне кажется, что там,  
в том классе, где битком

набито было нас,  
шел тайный диалог  
прекрасных губ и глаз,  
таинственный урок,  
неясный для других,  
понятный для двоих...  
Речь, собственно, о том,  
но это лишь потом  
открылось мне, когда  
чредой прошли года...

Мы вышли в коридор,  
а там — на школьный двор,  
а там — на косогор,  
уже не школа — хор!

Полночных звезд уют,  
ночных арыков звон,  
и мглою «Баяут»  
был полузанесен.  
Ревела лягушья,  
шептала алыча.  
— Заговорился я,—  
вздыхнул печально он,—  
а завтра...—  
Замолчал.

На звезды в высоте  
задумчиво взглянул  
и руку в темноте  
физичке протянул.  
И было так светло  
лицо ее в тот миг.  
И что-то отнесло  
от нас —  
безмолвных их.

Мы скромных прав своих  
не смели превышать.  
Тактичные умы,  
сообразили мы,  
что вряд ли провожать  
их дальше  
есть резон...  
Пускай себе идут.

Полночных звезд уют,  
ночных арыков звон.

Чредой прошли года,  
но живы до сих пор  
та ночь,  
                  та чистота,  
и хор, и косогор!



Когда я был мальчишкой-азиатом  
и жил в хлопкосовхозе «Баяут»,  
Ахматова стихи свои писала  
в каких-то трех мгновеньях от меня.  
Теперь, когда я бережно листаю  
ее неторопливые страницы,  
задерживается невольно взгляд  
на строчках, под которыми стоит  
обозначенье времени: Ташкент.  
(И это не обмолвка —

здесь Ташкент  
обозначение не только места,  
но, безусловно, времени!)

Я сразу,—  
отчетливо, конечно, понимая  
тщету своих потуг,— стараюсь вспомнить,  
что делал я в тот день.

В арыке плавал?  
Грыз кукурузу жареную?

Или,  
учебники забросив, собирал  
(«Все для победы!»)

хлопок, хлопок, хлопок?..

## СТАНЦИЯ РТИЩЕВО (1944)

Как сух июль!  
Как время тянется!  
Как возникают слухи с ходу!..  
А тут еще  
начальник станции  
исчез, как будто канул в воду.

На произвол судьбы оставленный,  
в глухой тупик вкатив колеса,  
состав, по сути, обезглавленный,  
ждет третьи сутки паровоза.

Кто за водой — с помятым чайником,  
кто за довольствием — с корзинкой,  
но большей частью — за начальником,  
снабженным шапкой-невидимкой.

За дальней далью разоренная  
земля о новом дне хлопочет.  
А тут слепая, разъяренная  
толпа клопочет и топочет.

Меча шальные громы-молнии,  
она кипит от возмущенья  
и митингует у безмолвного  
зашторенного помещенья.

О, эта площадь привокзальная —  
невероятное кочевье,  
где, если радость,  
то — повальная,  
зато такое же мученье!

Баулы, старцы полумертвые,  
тюки, младенцы, клубы пыли...  
Но на исходе дня четвертого  
состав наш дрогнул.  
Прицепили!

И в праведной борьбе не сдавшие,  
мы по вагонам сыпанули.  
И тут возник  
начальник станции,  
от нас бежавший накануне.

Вконец измотанный, измаянный,  
стоял он, в общем, добрый малый,  
и провожал нас понимающей  
улыбкой  
сдержанно-усталой...

## КАК ГАДАЛИ В УЛАШАНОВКЕ

*Евдокии Костюк*

Брали бабы бумага комок,  
на тарелке его поджигали.  
И струился по хате дымок  
вместе с горестным запахом гари.

И огонь подносили к стене,  
и в его разлохмаченной тени  
узнавали

                                мужей на войне —  
каждой было такое виденье.

Танк ползет ли? Деревья шумят?  
Непонятные пятна такие.  
А вот это уж точно солдат.  
— Мой! — тянулась к нему Евдокия.

Нинка видела мост над рекой,  
и по этому мосту  
                                пригожий  
шел служивый с увечной рукой,  
на Егора до боли похожий...

И подруги кивали: Егор!  
Не имей, говорили, сомненья.  
Полуночный вели разговор.  
Были сами как бледные тени.

И бумага сгорала дотла,  
и надежда неясная крепла,  
и дожить до рассвета звала  
эта горка летучего цепла.



Книг, прочитанных в сорок четвертом году,  
я с тех пор не читаю. Но вот ненароком  
обнаружил одну и открыл на беду,  
и пронзило меня электрическим током.

Содержание книги... Но дело не в нем,  
не при чем ни сюжет, ни герой, ни интрига.  
Это сажей пахнуло, сгоревшим жильем,  
одичавшей сиренью...  
При чем же тут книга?

Это звезды в контуженном небе висят,  
отражаясь в речном запрокинутом лике.  
Это юные вдовы в ночи голосят,  
затихая к рассвету.  
При чем же тут книги?



## ДЕНЬ ПОБЕДЫ И ЛЕШКА

Я узнал о Победе так:  
Лешка, с которым мы жевали  
тминную жвачку  
из американских рационов,  
а потом вlepляли ее в косы девчонок,  
Лешка, с которым однажды в Лесках  
мы обнаружили мину  
и стали ее обезвреживать,—  
в результате на правой руке  
у него не хватает двух пальцев,—  
этот Лешка  
колотил в нашу тощую дверь  
и вопил что есть силы:  
— Вставайте! Победа! —  
Мать стояла в ночной рубашке,  
а Лешка, презиравший сентиментальность,  
целовал мою маму, целовал меня,  
потому что, кроме нас,  
ему некого было целовать.  
Он жил в детском доме,  
а сестра у троюродной тетки,  
а тетку он ненавидел.  
Мы выскочили на улицу.  
Мы ворвались в кинотеатр.  
Там бесплатно крутили «Пархоменко»!  
Мы стояли, прислонившись к стенке,  
и ликовали со всеми: конец войне!  
Когда я думаю о Победе,  
я вспоминаю Лешку  
с ошалевшим лицом,  
на котором перемежались блики ракет.  
О, гроздя салютов в ночь на девятое!



В сорок пятом дожди не лили,  
тучи по небу, нет, не плыли,  
снег не падал, не помню,— нет!  
В сорок пятом  
                                сирень клубилась,  
и пластинка  
                                в саду крутилась,  
и веранду стеклил сосед.  
В сорок пятом не по сезону  
пели птицы, а по резону.  
Маки за́ городом опять  
пламенели в сплошном разливе —  
так, что братских могил за ними  
было,  
                                помнится,  
                                не видеть...

## МЕЛЬПОМЕНА 45-го

С фатерланда до пленных доходят вести  
в Николаев,—

их делят, как хлеб,— до грамма.

Нет сегодня театра военных действий,  
из руин воскресает

Театр драмы.

Оказалось, они — маляры, штукатуры,  
оказалось — сантехники, каменотесы.  
А еще — шутники, а еще — табакуры.  
Пацаны, мы таскали для них папиросы.

Конвоиры шугали нас, только не очень:  
до чего ж незлобив наш народ и отходчив!

— Данке,—

немцы нас пленные благодарили  
и привычное

«Гитлер капут» говорили.

И опять известняк для колонны тесали,  
но об этом газеты тогда не писали.

Был один коренаст, тонкогуб, приземист,  
и задумчив,

и улыбался редко.

Я теперь понимаю, что этот немец  
был похож на великого немца Брехта.

Он сидел на лесах, он притерся к плену,  
он,

уже пощаженный Победою майской,  
восстанавливал бронзовую Мельпомену  
с той почти легендарной вопящею маской.

(Да и как не вопить ей, когда Мельпомена  
с арналетом лишилась руки и колена!)

Этот немец клепал и чего-то приваривал,  
сам себе напевал, сам с собой разговаривал.

Это зданье,

два раза уже отгоревшее,  
поднималось опять для огня, но иного...

И смотрела с надеждою Муза трагедии  
на весну сорок пятого

снова и снова.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ ЯКОВА ТУРКИНА (1945 г.)

А Яков Туркин возвращался так:  
был поздний вечер, были звезды редки,  
сначала постучался он к соседке.  
С мешком солдатским. Как полночный птах.

(А в том мешке трофейный шевит,  
трофейный ром, прихваченный для жженки.  
Но Яков Туркин, он не идиот,  
чтоб так вот невзначай явиться к жженке.)

Соседку он вопросами долбил:  
как тут жила его супруга Тоська?  
Блюла себя? А, может, вертихвостка?  
А кто к ней заходил? А кто с ней был?

Соседка, в серый кутаясь платок,  
в какой обычно кутаются вдовы,  
на Якова рукой махала:  
— Что вы!  
Она вас ждет. У вас такой сынок!

А Яков не спешил. Стоял, сутул.  
Окурочек в губах его искрился.  
Потом он во дворе глубоком скрылся —  
еще к одним соседям завернул.

А там уже с веселым мужиком  
заправился трофейною заправкой.  
— Я к вам зачем? Я к вам пришел за правдой!  
Как Тоська тут? Не висла ли на ком?

Ему с усердием подтвердили снова:  
— Тебе мы, знаешь, Яков, не враги,  
но про жену твою худого слова  
никто не скажет, думать не моги!

Тогда он встал, от выпивки светясь,  
собрал вещички, становясь степенным,  
и к Тоське

по невидимым ступеням  
на самый верхний двинулся этаж.

Ступеньки все вели и все вели,  
пролеты в бездну уплывали немо,  
а он все шел — не на седьмое небо  
и все-таки подальше от земли.

И все про жен жестокие побаски,  
что по-мужски, а часто и по-бабски,  
слагают в час привала на войне,  
они остались там, внизу, на дне.

В ночной рубашке, распустив косу,  
с мальчонкой на руках (взрослеют шкеты!),  
стояла Тоська посреди планеты  
и не стирала со щеки слезу.

И Яков Туркин снял с плеча мешок.  
И он вздохнул хозяйственно и ровно.  
И звякнула в мешке

бутылка рома,  
и в ней качнулся жидкости вершок.

## ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕРВОМ ПОЦЕЛУЕ

Вы можете рассмеяться,  
но первый мой поцелуй...

Впрочем, сначала напомним, что День Победы  
был после Ночи Победы: именно ночью  
волна легендарного счастья

покатила народные толпы,  
и я был частичкой, подхваченной этим потоком!  
Сколько ни будешь рассказывать —  
все не расскажешь...  
Объятия незнакомцев?

Но люди были знакомы:  
теплушки, окопы, санбаты перезнакомили всех.  
Кто-то громко смеялся,  
а кто-то беззвучно плакал.  
Смеялся безногий солдат,  
а плакала женщина, глядя,  
как он на подшпипниках въехал

в котел того ликования.

Вот здесь-то я заприметил

рыжеволосую девушку!

Я недолго раздумывал, протиснулся как-то боком,  
обнял ее за плечи и весело поцеловал,  
и она на мой поцелуй ответила моментально.

Вы можете рассмеяться, но вкус того поцелуя  
долго меня тревожил отроческими ночами...

А девушку рыжеволосую, первую мою девушку,  
к другим поцелуям  
в сторону

стремительно отнесло.

Но м о й — остался со мною!

## СУББОТНИК

Когда шли мы к руинам вокзала,  
как ни странно, я был запеваля,  
ветр осенний меня обдувал,  
над плечом поднималась лопата.  
— Ну, давай же! — просили ребята.  
Не чинился я  
и выдавал.

И потом  
среди щебня, металла  
наша бодрая песня летала —  
что-то, в общем, из тех кинолент,  
где поют, поднимаясь, матросы,  
все бессмертны и все безголосы,  
и закончены, как монумент.

Нас вели из развалин ступени  
в небеса,  
и носилки скрипели,  
был подъем и рискован, и крут.  
И военные песни мы пели,  
как теперь их уже не поют.



## СУДЬБА

Он из госпиталя вышел,  
оклемался, в общем,  
выжил  
в сорок пятом, в сентябре...  
На душе — покой, свобода,  
на дворе — багрец, погода  
и прохлада на заре.  
Что там дальше? Все в тумане.  
Заглянул к больничной няне  
на короткий разговор.  
Разговор тот на Слободке  
оказался некороткий,  
если длится до сих пор.  
От добра добра не ищут,  
на Слободке птахи свищут,  
под окном шумит трава.  
Был солдат — кремень,  
а сдался  
и у няни жить остался  
(с сорок первого — вдова).  
Залатал забор тесовый,  
вырыл погреб двухметровый,  
яблок к свадьбе замочил  
и однажды, выбрав ночку,  
заказал шутейно дочку.  
...Да всерьез и получил!

## ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ

Разом скинули плащ-палатки,  
разом вспомнили танцплощадки,  
разом замуж за тех ребят  
вышли, с кем воевали разом,  
и родили им, доброглазым,  
кто девчонок, кто пацанят.

Чуть забыли про колыбели,  
тут и очи отголубели,  
да и косы сменили цвет,  
и суставы заныли с натуги,  
и уже повалили внуки  
разом.  
Удержу просто нет!

## ТАНЦЫ ЛИНЫ АКУЛОВОЙ

Дайте я расскажу по порядку,  
не очень коротко и не длинно,  
как торопилась на танцплощадку  
после войны Акулова Лина.

Дом офицеров стоял на видном  
месте, в густых тополях и кленах.  
Начало знакомств, начало любви там,  
послевоенных браков законных.

Лина знала, что не вернется  
с войны ее одноклассник Слава  
(веснушки на скулах и возле носа) —  
емуobelisk и вечная слава.

Весною его зацепила мина,  
может, последняя — у Бреслау.  
В общем, билеты на танцы Лина,  
так получилось, сама покупала.

У ней по шелку — россыпь горошин,  
у ней ридикюльчик с мужской расческой.  
Дворик для танцев был отгорожен  
от улицы  
крепкой стальной решеткой.

Но сквозь ограду пух тополиный  
лез на площадку,  
кружился с Линой.

Ее приглашали — бухгалтер местный,  
серьезный летчик-белобилетчик  
и городской холостяк известный —  
набрильянтиненный человечек.

Три ухажора — не так уж мало,  
три кавалера — доброе дело...  
Лина кружилась — глаза прикрывала,  
и на глазах она молодела!

Что там во взгляде — поди пойми ты:  
очи таинственно полузакрыты.

Думал бухгалтер: такая странность  
с детским наивом в одном ряду, мол.  
Был холостяк уверен: от страсти.  
Летчик, ведя, ни о чем не думал.

И все же души бы их всполошились,  
когда бы узнали горько-лукавый  
секрет: не с ними она кружилась —  
только со Славой,  
только со Славой.

Только со Славой — танго и польку  
(не выдай, шепот, родное имя...)  
На белые вальсы Славу только  
она приглашала, хоть шла с другими.

Глаза прикрывала и — в круг, как в кратер,  
пускай полумрак от горечи лечит.  
О чем-то догадывались бухгалтер,  
и холостяк, и белобилетчик.

И, может, в силу этой догадки  
никто не вел ее с танцплощадки.  
И ночью один за шагами Лины  
летел, приставая, пух тополиный...

## ВОСПОМИНАНИЕ О ТИРАХ

Послевоенные тиры  
в скверах, разбитых на месте  
бывших кварталов!  
Память хранит их доселе.  
Кажется, мир отстрелялся.  
Кажется, были накрыты  
все цели и все объекты.  
Что продырявить можно,  
было уже продырявлено.  
Но, видимо, грустная боль  
еще бередила тело.  
Раны кровоточили  
и требовали отмщенья!  
И в тире вдруг появлялся  
вчерашний окопный житель  
в застиранной гимнастерке,  
в начищенных сапогах.  
Надламывая «воздушку»,  
он отчаянным взглядом  
шарил по стенду, где не было  
тогда ни лис, ни медведей,  
ни мельниц, а были только  
каска с паучьей свастикой  
над безглазыми лицами...  
И вот, уперевшись в стойку  
звонящими локтями,  
он принимался палить,  
и делал это, покуда  
имелась мелочь в кармане.  
И каски с жестяным целканьем  
падали,  
падали, падали...

**ВОСПОМИНАНИЕ О ЧЕРТЕЖНИКЕ**  
**(1946)**

*Д. Быку*

Чертежник был гол как сокол!  
В фуражке с тульею отставшей,  
озябший, нахохленный, сдавший,  
он душу держал под замком.

Да, собственно, в душу его  
мы, правду сказать, и не лезли  
и были довольны им, если  
домой не задаст ничего.

Сурово его бытие  
и, значит, сурово сознание...  
В учительской спал  
на диване,  
а в классе —  
на классном столе.

Да, да, ни двора, ни кола!  
Какое имеет значение!  
Но все его оси, сеченья  
гармония произвела.

Так были изящны, легки,  
таким обозначены чувством,  
что даже казалось кощунством  
сводить их  
бесследно  
с доски.

Прообразом были они  
и меры, и миропорядка.  
И верилось смутно и сладко  
в поистине дивные дни.

Но год пролетел или два,  
и стерлась, и в прах запропала  
извилистая, как лекало,  
того человека судьба.

Мелькнул, как взъерошенный птах,  
и канул в пространстве пустынном.  
А звали его Константином,  
по-моему.  
Вроде бы так...

## ЭХО

Средь августа, безжалостно пекущего,  
средь января, метущего сугробы,  
товарища, по городу бегущего,  
конечно, вы видали. Ну, еще бы!  
Он так пальтишко бедное распахивает,  
и так руками нервными размахивает,  
и так толпой мальчишек обрастает,  
что на себя вниманье обращает.

Он был артиллеристом в ту, минувшую,  
и брал поселок, — кажется, у Дона,  
где были душегубками задушены  
сироты из районного детдома.

Который год весна цветы расстеливает,  
а он фашистов до сих пор расстреливает.  
С усмешкой мстительною на губах  
по-детски он выкрикивает: «Бах!»

Ему и многолюдье — как безлюдье,  
он сладковатым порохом пронах,  
к невидимому он припал орудью,  
и снова: «Бах!»

И тут же сразу: «Бах!»

Он устает от каторжной работы,  
сержант артиллерийского расчета,  
а тут еще так часты перелеты,  
а тут еще так часты недолеты.

И он опять дотошливо рассчитывает  
и сдерживает хриплое рыдание...  
— Огонь! —

И он, счастливый, руки вскидывает:  
наверное, прямое попадание.



## КИНО В ОТРОЧЕСТВЕ

О, эта ярмарка тщеты!  
Она почти как вызов.  
На «Девушку моей мечты»  
бежал я с Маковизом.  
Там, в школе, шел себе урок,  
а мы в затихшем зале  
глазели на Марику Рокк  
недетскими глазами.  
Нас возносила над землей  
накрашенная дива,  
над миром, пахнувшим золой  
победно и счастливо.  
И мы брели потом, таща  
все впечатленья эти,  
сквозь бесконечного дождя  
серебряные сети.  
Была мечта, и высота,  
и сладость этой ноши...

А истинная красота  
открылась  
много позже.

## ВОСПОМИНАНИЕ О НЕДОЧИТАННОЙ ПЬЕСЕ

*Послевоенному литобъединению*

На признание надеюсь  
или так — для пробы сил,  
приходил один путеец,  
сочиненье приносил.

В пятиактной длинной пьесе  
составляли некий фон  
переезд на переезде  
и на каждом — семафор.

Там, будя окрестность эхом  
паровозного гудка,  
поезд ехал, ехал, ехал  
далеко. Издалека.

И в его отсеках жили  
гомонливые жильцы —  
тех кочевий пассажиры:  
бабы, воины, слепцы...

Там пророчили планиду,  
примостившись в уголке,  
две цыганки инвалиду  
по единственной руке.

Там бывалая старуха,  
доживающая век,  
старикку кричала в ухо,  
как лечила  
*поперек.*

Сколько шуток было, смеха,  
сколько грусти было, слез!  
Ну, а поезд ехал, ехал,  
пар швыряя под откос.

Крынки к окнам подносили,  
и пылал последний зной,  
и взялась уже Россия  
самой ранней желтизной...

— Ну, а дальше, дальше что же?  
И в итоге — в чем же суть?  
Но сказал путеец: — Позже  
дочитаю как-нибудь.

Там не то еще случится,  
что случилось до сих пор.  
И покуда поезд мчится,  
не закончен разговор.

— Все! — и чтение, как ни жалко,  
прекратил, неумолим.  
...До сегодня дышит жарко  
поезд, выдуманный им.

## ЧЕЛОВЕК, СОБИРАЮЩИЙ ПРЯНИКИ

Володеете нами и правите,  
страсти, страсти,— и несть вам числа!  
Человек, собирающий пряники,  
собиратель — иным не чета.

И на стол, белой скатертью устланный,  
он свои раритеты кладет.  
Есть медовый

А есть еще сусляный.

Вот фигурный.

И писанный вот.

Он глядит на них добро и ласково,  
гладит нежно коврижки, жемки,  
и глазурью, мерцающей лаково,  
он любит из-под руки.

И его вы не переупрямите,  
дескать, все это блажь, ерунда.  
Человек, собирающий пряники,  
не слушает вас никогда.

Он мой сверстник.

Сединки меж прядями.

Неожиданно я узнаю,  
что он пережил зиму блокадную,  
ленинградскую зиму свою.

И глаза у него распечальные,  
но веселый, смеющийся рот.

Есть и тульские.

Есть и печатные.

Одномедные, битые — вот!

## СВЕРСТНИЦА

Лариса!

Послевоенная  
таинственная Вселенная,  
гордыня моя и шик!  
Увозит тебя, зеленую,  
солидный, в шляпе заломленной,  
себе на уме мужик.

От наших блох на аркане,  
от южных крутых страстей,  
от нашего шумного кодла  
к каким-то орсам своим.

Лариса! Парус в тумане!  
Ни всплеска, ни новостей.  
Где-то когда-то кто-то  
видал тебя в Ялте с ним.

В панбархате и с какой-то  
улыбкою виноватой —  
такие назад возвращались  
под родительский кров.  
Эх, девчата, девчата!  
Чуда хотели — чада  
наглотались с лихвою,  
навиделись — будь здоров.

Еще мальчишеским стажем,  
томлением по аллеям  
мы маялись тяжело.  
А вы уже были старше,  
как бы другим поколеньем.  
Так оно и пошло.

## КАК Я ПИСАЛ СТИХИ ПО ЗАКАЗУ

— Как, говоришь, зовут ее?  
— Люся,— он шепчет.— Люся...—  
Наш возраст рискован.  
За окнами быстро темнеет.  
Мы класс освещаем карбидом.  
Последний военный январь.

Сижу в солдатской шинели,  
купленной на толкучке.  
В историю древнего мира  
вникаю, но очень слабо.  
Куда занятней история  
любви  
синеглазого Шутова!

Все сводится, в общем, к тому,  
что я непременно должен  
зарифмовать его чувство,  
зажечься его пожаром,  
удары вольного сердца  
приладить к его аритмии.

— Но все-таки,— я настаиваю,— о чем?  
— Ну, то что красива,  
что я без нее не могу...  
Ну, что-нибудь... Сам понимаешь!

Задал он мне работу!

По тихим заснеженным улицам  
(еще не пустили трамвай)  
я бродил и шептал о любви

(я ни разу еще не любил),  
о любви синеглазого Шутова  
к Люсе (везет же людям!).

Все, чем томили меня  
сумеречные переулки,  
всю жажду взрослой любви,  
весь джентльменский набор  
из нежности, звезд и фиалок  
я приписал соседу по парте.  
Но это еще не развязка!  
Порой  
я встречаю на улице женщину.  
Тысячелетье назад ей было 17.  
Она проплывает мимо.  
По сути, мы незнакомы.  
Тысячелетье назад  
я над ее головой  
сооружал пустячок — этакий венчик,  
короче — такое сиянье.  
Но тщетными были усилья.  
— Люся,— шепчу я.— Люся...

## БАЛЛАДА ПОЛЬСКОГО КИНО

*В. Приходько*

Поляки снимают войну,  
как с горя повязку сдирают.  
Смеются — портянки стирают.  
Не дышат — в кустах замирают.  
Опять и опять умирают —  
поляки снимают войну.

Фугас разлететься готов.  
Бикфорд шипит, убегая.  
Войне уже тридцать годов —  
никак не дотянет до Мая.

Утробно дрожит полотно,  
и нервы уже на пределе.

Да что мы —  
одно и одно!  
Да что мы —  
на самом-то деле!

Дай к белому шелку прильнуть  
ствола твоего, о березка!  
Дай мирного неба глотнуть,  
всемиловитая Матка Бозка...

Потом,  
пригибаясь,  
бегом!  
Последние метры довертим,  
последнего гада добьем,  
последний рывок обессмертим.



Всё!

Нынче снимаем весну:  
и разом, и поодиночке  
на ветках взрываются почки,  
цветут на поляне цветочки,  
туман расстилается, нежен...

Но кто в перелеске? Жолнежи!

И значит —

опять про войну.

## УРОКИ ФОТОГРАФИИ

Что люди собирают?  
    Картины? Книжки? Диски?  
Но сколько нужно дисков  
    и сколько нужно книг?  
А нас учил Юдицкий  
ловить прекрасный миг!

Он физику читал нам,  
    кумир и повелитель...  
Закончены уроки,  
    на улице — весна!  
Щедра его обитель,  
но чуточку тесна.

Мы снимки проявляем,  
    мы, словно невидимки,  
над сказочной бумагой  
    колдуем не дыша.  
Какие были снимки!  
Как тешилась душа!

...Ботинки-мокроступы  
    в последний снег вминая,  
стоит на фоне рынка  
    в сорок шестом году  
медлительный Минаев,  
веселый тугодум.

А это я в шинели,  
    заштопанной искусно,  
а вот Сережа Вольский,  
    любитель честных драк.  
Смотрю с улыбкой грустной,  
не насмотрюсь никак.

...О, как я удивлялся,  
когда на негативе  
моя башка мальчишья  
белым-бела была!  
Теперь на позитиве  
она белым-бела...

## ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

О, как мне близок тот пацан,  
что, в  $a + b$  не зная толку,  
не сочинения —  
д и к т о в к у  
и ту стихами бы писал!

В окно стучались  
альча  
и азиатские пичужки,  
и Муза в латаной дерюжке  
нашептывала  
из-за плеча...

И тот подросток мне знаком  
среди руин послевоенных  
в армейских чеботах отменных,  
в фураге с узким козырьком.

Он песню на́ голос берет,  
его веселье распирает,  
и он руины разбирает  
и в счастье верит наперед.

А этот?  
Звезды торопя,  
спешит к единственной подруге.  
По немоте любовной муки,  
безумец, узнаю тебя!

За каждой выходкой своей,  
за каждой слабостью вчерашней  
я наблюдаю все бесстрашней,  
все примиренней и добрей.

Но, боже, кто это стоит  
невдалеке и в полумраке  
и подает глухие знаки?  
Старик...  
Чего тебе, старик?

Он клонит голову к плечу,  
напрягся, ждет: вот-вот признаю.  
Он — кто?  
Я знать его не знаю.  
И знать покуда не хочу!

## ДЕТДОМОВСКИЙ ПОЭТ (1947)

*М. Федику*

Меня окликает Марат.  
Стоит он под лиственной крышей  
такой безнаказанно рыжий,  
в веснушках с лица и до пят.

В школярской тетради его —  
полет беспризорного духа:  
салюты, победа, разруха,  
трагедия и торжество.

Пацан в сочинении есть,  
цыгаркой дымящий сутуло,  
руины, и ветер Ингула,  
и отроческая честь.

Как автор, герой угловат  
и речью солоноватой  
опять же похож на Марата.  
— Не слишком ли грубо, Марат?

— Не слишком! —  
ладонью рубя,  
он чтение близит к финалу. —  
Упрек я предвидел, пожалуй,  
но разве земля не груба?  
Какое-то время спустя  
я выдам такие полотна!

Смеется вполне беззаботно  
детдомовское дитя.

...Нас к речке выводит тропа.  
И жжется с полдневной надсадой  
земля  
        возле Дикого сада,  
которая вправду груба.

## МАЛЬЧИК

*По мотивам картины М. Греку.*

Вот стоит он меж двумя волами,  
как масленок меж двумя стволами.

Кнут плетеный на плечо заброшен,  
радуга свисает полукругом.  
Травяной покров духмян и прочен,  
луг широк и облака над лугом.

И бока волов его прикрыли  
от дурного глаза да от кривды,  
от дурного слова,  
от гриба дурного —

от несытого,  
огромного,  
ядовитого,  
атóмного...



## ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Что речь по старинке плести?  
Сочувствие встретишь едва ли.  
Какие-то жизни пласты,  
считай, отвалились, отпали.

Иначе туманы плывут,  
щебечут щеглы незнакомо.  
И выбок и хрупок уют  
железобетонного дома.

И канули в тартарары  
альбомы, в которых девицы  
по правилам древней игры  
надменны, стройны, бледнолицы.

Истлели давно дневники  
и писем пространные строки,  
где грезы, как птицы, легки  
и вздохи созвучны эпохе.

Причуды телесной любви,  
решенье житейской задачи  
и шелест сверчковый в крови —  
иначе, иначе, иначе.

И мы, не спеша попрекнуть,  
на праздник толпы многоликой  
взираем с растерянной чуть  
и все-таки светлой улыбкой.

Ведь мир на рассвете томит  
и манит наклон небосвода,  
и просто иная шумит  
в раскидистых кронах свобода.

И вновь молодая трава  
звучит, как бессмертная притча.  
И жизнь бесконечно права,  
упрямо меняя обличья.

## СВИДАНИЕ

*Людмиле*

Как бесчинствовали звезды!  
Как луна пылала жарко!  
Как безжалостное небо  
твой высвечивало лик  
у высокого забора  
городского зоопарка,  
у стены, из-за которой  
доносился львиный рык!..

Были судорожны речи  
и полночно-откровенны,  
и к рукам тянулись руки,  
постепенно осмелев,  
у стены, из-за которой  
раздавался плач гиены,  
и труба слоновья пела,  
и рычал бессонный лев.



Помнишь, мы были в Покровке рыбацкой?  
Там еще смех раздавался ребячий,

там еще чайка с крылом перебитым  
прыгала боком с растерянным видом,

там еще некий мазилка из Львова  
изобразил на холсте рыболова,

там еще путь, называемый Млечным,  
высветил травы, где выпало лечь нам...

Стог голубел невдали от причала.  
Грудь твоя свет голубой источала.

## ЛИСТВЕННАЯ МЕТЕЛЬ

Осень, я поклонник твой,  
и со мной что хочешь делай:  
замети меня листвою  
изумительно нарядной,  
удиви отяжелелой  
спелой кистью виноградной  
и прохладной синевою.

Двадцать лет тому назад  
ты свела меня с любимой,  
чтобы двадцать лет подряд  
заметало нас томленьем,  
чтобы я бродил с Людмилой,  
замечая с удивленьем,  
как грачи к теплу летят.

Жизнь истаяла, как миг!  
А ведь мог прожить я вечность  
без прельстительных вериг  
этих губ, и рук, и взгляда!  
Счастье — это быстротечность,  
но иного мне не надо  
на метелях огневых.



Покуда молчат самолеты,  
в ночную дремоту уйдя,  
дай бог тебе летной погоды,  
а мне — проливного дождя.

Заместо насущного хлеба,  
а также семейных оков —  
дай бог тебе ясного неба,  
а мне — кучевых облаков.

Здесь добрый исход невозможен,  
тут общему благу не быть,  
и бог обязательно должен  
кого-то из двух обделить...

И судя по далям погожим,  
по синему свету в окне,  
к тебе он опять расположен  
и неблагоприятен ко мне.

## ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

В ту осень долго синева  
цвела светло и грустно.

Согнуться мог.  
Но — черта с два! —  
решил  
и не согнулся.

В природе был особый лад,  
нездешний блеск и глянец.  
И продавали виноград  
везде, куда ни глянешь.

И волны к берегу гребли,  
и свет на них дробился.  
Я имя позабыл любви  
и — на тебе! — влюбился.  
С души забитой  
все подряд  
поотлетали доски.

И продавали виноград  
на каждом перекрестке.



Наслаждаюсь водой проливною,  
налетевшей, как вихрь, с высоты.  
Что со мной приключилось?  
Со мною  
приключилась по-прежнему ты.

Август. Утро, подобное воску.  
Как хочу, так его и леплю.  
Ты забыла на кухне авоську —  
я смотаюсь,  
картошку куплю.

Молодухи-торговки  
на рынке  
разливаются, как соловьи.  
Кто сказал это? Кажется, Рильке:  
не пишите стихов о любви.





Как золотисто расцвечен листочек!  
Косо летит, а куда залетит?  
Где же источник,  
  где же источник  
света, который его золотит?

Облако тайной нездешней смущает  
и скоротечной беспечной судьбой.  
Где тот светильник,  
  что освещает  
облака этого тонкий подбой?

Слепнет река от мерцанья сплошного,  
льется сиянье кустов и травы...  
О, неужели, любимая, снова  
это извечные козни твои?



Холодно, безоблачно, пустынно  
в небе городском.  
Говорят о сердце «отпустило»  
в случае таком.

Отпустило. Скатертью дорога!  
Миг, желанный столъ.  
Только саднит там еще немного,  
где гнездилась боль.

Так, должно быть, рана, зарастая,  
ноет вновь и вновь.  
Так любовь, наверно, отпуская,  
все еще любовь...



Я жить хочу, как все!  
В автобусах толкаюсь,  
к арбузу ухом льну —  
узнать, каков внутри.

Ремонту нет конца:  
в душе и в доме хаос,  
два месяца враспыл,  
а то еще — и три.

Как все, как все, как все!  
Обрыдли мне попреки,  
что, дескать, краснобай,  
витаю в облаках.

Вот я белю балкон,  
вот я даю уроки,  
вот с рынка жму домой  
с авоськами в руках.

Но я не виноват,  
что где-то посередине  
обратного пути  
застыну, истукан,  
и что-то зашепчу  
скамье, столбу, витрине,  
и удивлюсь на миг  
придуманному строкам.

Я тут же их раздам  
осенним кленам тощим,

и взгляд летит горе,  
и затуманен взгляд...

Я жить хочу, как все:  
вот я тащу картошку.  
Я есмь земная персть.  
Но я не виноват.



Негражданских поэтов в Отечестве нет!  
Долгий тянется перечень бед и побед,  
длинный список сожженных сердец и домов,  
обелисков фанерных,

безмолвных холмов...

Пустота изощренно-загадочных фраз  
по причине такой не проходит у нас.  
Если вишня цветет подвенечно весной,  
белизна ей далась небывалой ценой.  
Если маки в полдневной степи горячи,  
до сих пор их питают не только ручьи.  
Да струится из песен торжественный свет!  
Негражданских поэтов в Отечестве нет.

## КАК ДОВЖЕНКО СНИМАЛ «ЗЕМЛЮ»

Довженко землю понимал,  
и на плечах интеллигентных  
Довженко землю поднимал  
до эпоса и до легенды.

Такую веру он всеял,  
мне говорил артист Масоха,  
что превращалась вдруг массовка  
в заправский митинг у селян.

Текли сады вдоль белых улиц,  
и к горизонту —  
                                цоб-цобе! —  
волы медлительно тянулись  
с травинкой мокрой на губе.

Истаивали ночи зябкие,  
и яблоки,  
                                стуча,  
  катились.  
И груди девичьи, как яблоки,  
в руках у парубков светились.

А сам Довженко шел на Псел,  
и, ежась от прохлады резкой,  
он умывался этой речкой,  
перевидавшей столько сел!

В нем чистота, как мед, играла  
в руках, в бровях, в изгибе рта,  
и доходила до экрана  
довженковская чистота.

Свистали,  
от зари пунцовые,  
довженковские соловьи.

Юпитерами?  
Подсолнухами  
он ленты освещал свои!

## КОСТЫЛЬ

Есть у меня сосед Петро — сапожник:  
костыль с войны

и дергающийся глаз.

Чуть вечер — о событиях всевозможных  
мы говорим с ним всласть, не торопясь.

Вот входит он, и пожимает руку,  
и прислоняет

к стенке свой костыль.

И так он спор заваривает круто,  
что я ему б десяток лет скостил.

Есть у него сложившееся мнение  
о мире,

о войне с ее трудом,

и все его нелегкие сужденья,  
как доводом,

подперты костылем.



## К ВОПРОСУ О СКЛЕРОЗЕ

У наших стариков склероз.  
Вот, например, отец Аркадия:  
поел борща, послушал радио  
и вышел в тапках на мороз.

Он проводил жену в Ирпень,  
но этот факт со счета сбрасывает  
и, где она, проснувшись, спрашивает  
у сына каждый божий день.

Оборвалась в сознании нить.  
Он то, что нужно, забывает  
и помнит, что не грех забыть,  
и этим внуков забавляет.

И на меня, и на меня  
хвороба движется такая же,  
и смутно помню я, мне кажется,  
друзей ближайших имена.

Я забываю о добре,  
что мне когда-то люди делали,  
а давеча забыл о дереве,  
поливки ждущем во дворе.

Я стал послушен, словно пайнька,  
не завожу о прошлом речь  
и кладь трагическую памяти  
вот-вот свалю с натертых плеч.

Хотел сказать я что-то. Стоп!  
Спешат ретивые подростки,

а я стою на перекрестке,  
ладонью потирая лоб.

Напалм бушует.

Крыша рушится.

Дитя вопит из полутьмы.

Забывчивая,

как и мы,

планета кружится и кружится.

Нет, нужно что-то придумать, иначе это  
плохо кончится. Впрочем,

я читал в каком-то журнале,  
что средство против склероза найдено...

или

ищется? Но где я читал об этом? Где?

## ПРОСЦЕНИУМ

*Моей маме Р. М. Яромоловской*

Молодою была эта женщина,  
молодою и строгой была.  
И она выпрямлялась торжественно  
и на самый просцениум шла.

И сверкал бескорыстный талант ее  
в жесте остром и резком, как меч.  
И струилась багряная мантия,  
ниспадая с худых ее плеч.

И тревожные, самые лучшие  
пламенели слова, как приказ.  
И звалась она так:

Революция —  
в давней пьесе, забытой сейчас.

Были зрители очень серьезные,  
кто от цеха, а кто от земли,  
и головушки послетифозные  
высоко над рядами несли.

Что-то гордое и соколиное  
в них рождалось в ответ на призыв.  
И суфлер замолкал за кулисами,  
про свое ремесло позабыв.

Революция! Молодость мамина!  
Свет пленительный нового дня!

Я родился. Багряная мантия  
осенила, как знамя, меня.

## БАЛЛАДА О РЕГЛАМЕНТЕ

*Владимир Ильич очень ценил фактор времени...  
Время ораторов строго регламентировалось,  
обычно им давалось две минуты.*

*Е. Стасова, «Учитель и друг»*

Две минуты всего — про кулацкий мятеж,  
две минуты про голод (а требуют — три).  
Речью

снег с полотна все равно не сметешь,  
и детей не накормишь, хоть день говори.

И Владимир Ильич за часами следит,  
за сухой непреложностью фраз.  
С циферблата чуть слышно секунда слетит,  
и товарищ закончит рассказ.

Две минуты. Стучит карандаш по стеклу,  
будто колокол бьет  
над притихшей Москвой.

Две минуты уходят в морозную мглу —  
это возраст мужает, республика, твой.

Пусть пока холода, с провиантом беда  
и жестокими цифрами лупит доклад,  
по уже, как рассвет, они брезжат, года  
Комсомольска, Кузнецка, ударных бригад.

Две минуты —  
и зубы до боли сцепив,  
мы прошли два шага, два коротких шага.

Две минуты —  
и кризисом пышущий тиф  
надломился, как падают в марте снега.

И мои две минуты уже истекли.  
И кончаются  
на полуслове  
стихи.

## ЛИНИЯ

*Памяти юной художницы  
Нади Рушевой*

Эта линия билась и пела,  
изгибалась, зигзагом плыла,  
опадала, как пена,  
улетала, как будто стрела.

И костер сумасшедшего танца,  
и любви беззащитной чело...  
Потому оборваться  
и не стоило ей ничего.



*Л. Енгибарову*

Как по жизни помотало,  
разве выскажу кому?  
Только скорбно и устало  
кверху веки подыму.  
Бьет строка порою мимо,  
остывает страсть к словам.  
Я небрежным жестом мима  
все до капли передам.  
Вот я счастлив.

Вот я в горе.

Вот иду.

А вот стою.

Вот, почувяв ноту в горле,  
песнь беззвучную пою.  
Не видны души порезы,  
вся упрятана любовь.  
Только вдруг ко лбу ползет  
болью сломанная бровь.  
Только плечи вдруг повиснут,  
только глаз стряхнет слезу.  
И улыбка, как повинность,  
разольется по лицу.

И уйду я,

гордый мим,  
от болтающих — к немым.

## ПРОВОДЫ

У проходной завода  
печальное извещение  
в квадратной траурной рамке:  
двадцатого октября  
после тяжелой болезни  
ушел из жизни...

И крупно:

фамилия, имя, отчество,  
кадровый судосборщик.

И рядышком:

вынос тела,  
и время, и день, и адрес...

Случайное совпадение:

в этот же день, но утром  
уйдет от пирса завода  
новехонький рудовоз.

Мы в первый проводим путь  
осанистую махину,  
звонящую, как гитара.

А после

в последний путь  
проводим того, чьи руки  
стальную одежку сшили  
гигантскому рудовозу.

И гроб поплывет, как судно,  
на сильных плечах бригады  
в осенних  
сырых цветах.



## ВОСПОМИНАНИЯ О СОСЕДСКОЙ АКУЛИНЕ

### *1. Магнитофонная пленка 1950 года*

На заре магнитофонного бума  
Акулина, подсев к магнитофону,  
пела тонко, надсадно и угрюмо,  
как гулял молодой казак по Дону...

Я записывал старушечье пенье  
и спросил ее, а что это значит,  
что она посреди старинной песни  
так потерянно и горестно плачет?

И ответила мне так Акулина  
(Был туманен ее взгляд и рассеян):  
— Никакая та песня не старинна,  
казака того зовут Тимофеем.

До сих пор воспоминанием мучит  
красный конник  
на коньке на чубаром...  
Три годка Акулине был он мужем  
и зарублен  
под самым Богучаром.

## 2. К вопросу о языке

Акулина,  
которая говорила,  
что грома боится,  
представляла собой  
стерильную, крохотную старушку.  
О какой-нибудь небылице  
она отзывалась: — Сплели плетушку!  
— Дай-ка,— просила,— газетку постарше...  
О чем-то почерке:  
— Пишет, гляди, как дробно.—  
Задолго до гимна  
с постельки тихонечко вставши,  
она возилась на грядках  
среди укропа.  
Она бежала дворовых ругачек,  
где надрывали хозяйки глотки.  
И замечала, что день с рукавчик,  
когда он по-зимнему был коротким.  
А если сдержанно и сверкуче  
небо склонялось над ликом земли,  
она пугалась,  
говорила, что натекли тучи,  
и ты убеждался: действительно, натекли...  
Когда о языке начинают спорить  
вудно и длинно  
и споры переползают  
из газеты в газету,  
я вспоминаю соседскую Акулину  
и мысленно кланяюсь этому языковеду.

## МОЙ КОПЫТИН

Алгебре учил меня Копытин...  
Я замечу между строк:  
был он ироничен, безбиден,  
но бескомпромиссно-строг.

Он ко мне стучался рано утром,  
он в соседнем жил дворе.  
Шли мы в школу и туманом мутным  
любовались на заре.

Возрастной барьер и в грош не ставя,  
исповедовался мне,  
как скучна свобода холостая:  
сыт (показывал) вполне.

На примете есть одна девица,  
хороша, да вот беда —  
в дочери ему как раз годится,  
в общем, больно молода.

Ей иного толка нужен рыцарь...  
— Что молчишь, как тот сурок? —  
Что́ ему, которому за тридцать,  
присоветовать я мог?

Так мы шли. Редела мгла. Качался  
тополь в солнечном дыму.  
Возле школы разговор кончался  
к облегченью моему.

Мой Копытин!

В класс входил он бойко,  
подносил к глазам журнал,  
вызывал меня и ставил двойку —  
снисхождения не знал!

## ВСТРЕЧА С БРАТОМ

*Вадиму*

Ослабела родственная связь —  
это горьковатая, но правда.  
...Встретил я двоюродного брата,  
мимоходом встретил, торопясь.

Шел он по больничному двору,  
шел в казенной старенькой пижаме,  
и короткий разговор меж нами  
состоялся на сухом ветру.

На сухом ветру и разговор  
получился тоже суховатым.  
О, могли бы мы  
встречаться с братом  
чаще, чем встречались до сих пор!

Мы могли бы, глядя на закат  
и обняв приятельски друг друга,  
толковать о состоянии духа,  
как сегодня редко говорят.

Мы могли бы вспомнить столько дат!  
И на тихой лавочке в печали  
помолчать, как мало с кем молчали,  
как молчать лишь может  
с братом брат.

## ПОСЛЕДНИЙ КАДР ФИЛЬМА «ПЕЧКИ-ДАВОЧКИ»

*Памяти В. М. Шукшина*

Чуб взлохмаченный, ноги босые,  
настороженный взгляд...  
А вокруг вечереет Россия,  
тени бросил закат.  
Поле вспахано. Ширь без предела.  
Значит, дело с концом!  
Почему же поджарое тело  
как валито свинцом?  
И помалу душа начинает  
колобродить в тоске,  
и зажат крохотуля-чинарик  
в нагруженной руке.  
Это с каждым бывает такое!  
Никому отродясь  
не давала Россия покоя  
и, наверно, не даст.  
Нам не хлеба единого надо  
и бокала пивца:  
если лада, то — высшего лада,  
если правды — чтоб вся!  
Потому среди сомнительных истин,  
легковейных, как дым,  
мы одну — верушимую! — ищем  
и зубами скрипим.  
Жить бы так: не слукавив ни разу!  
Гордо голову несть,  
чтоб сказать под конец эту фразу:  
«Все, ребята, конец».

## ЗА НЕЮ

*Алисе Фрейндлих*

Как утвержденья злят,  
что, мол, театр — отдых!

Тяжелый подбородок  
и волоокий взгляд...

На взводе каждый нерв,  
начало монолога.  
И в зал вошла тревога,  
и зал оцепенел.

Как можно пред толпой  
так яростно открыться?  
Так может лишь Актриса.  
И мы — с каких-то пор.

Среди зловещей тьмы  
нащупать щелку света —  
она лишь  
может это!  
Но с неких пор — и мы.

Мы жили впоныхах,  
впустую убивались.  
Не так мы улыбались  
и плакали не так.

Быть попросту людьми  
всегда ли нам давалось?  
Ей это удавалось.  
Попробуем и мы.

## ПРАЗДНИК ДВОРА

Прослыл среди нас неплохим человеком:  
натура добра!  
И вот приглашен разворотистым ЖЭКом  
на праздник двора.

Надраил свои ордена и медали —  
слепят на свету.  
И сел на скамеечку, ту, что подале,  
в последнем ряду.

Ведущий старался, и девушка пела,  
и все о войне.  
А тот, что сражался за правое дело,  
притих в стороне.

Но разве смолчишь, коли дадено слово?  
И надо вставить  
и раны, давно заживленные, снова  
при всех растравлять.

Пути к отступлению отрезая,  
он робость сломил  
и крикнул в слезах, костылем потрясая:  
— Да здравствует мир!

## ОБЩАЯ ТЕТРАДЬ

*А. Кунину*

Что-то там снизошло на провизора,  
и в один из погибельных дней  
превозмог он гипноз телевизора  
и отбился от внучки своей.

Бродит городом словно бы ощупью,  
строчки под нос бормочет себе  
и заносит

        в тетрадь свою общую  
размышленья о личной судьбе.

Его рыжая куртка расстегнута,  
сигарета его не дымит.

Брак,  
        давно и надежно расторгнутый,  
запоздалою рифмой томит.

Не хватает запаса словарного,  
сочиняет, размеры круша,  
но сиянья полна светозарного  
перебитая бытом душа.

Тут ведь речь не о славе и выгоде...  
Озарение! Умственный труд!  
И мешки под глазами навывкате  
перегрузку его выдают.

Мать приснилась. Схоронена в Речице.  
Строчки так и пустились гурьбой.

Неужели и правда он лечится  
тем, что горше отравы любой?



## БЛАГОДАРНОСТЬ

*К. Миллич*

Актриса, та, которую пленен  
я был еще подростком,

в ту эпоху,  
когда театрик наш провинциальный  
был для меня и праздником, и чудом...  
О боже, я вчера ее увидел,  
когда, не узнаваемá никем,  
согбенна, сухощава, востроноса,  
она на ленсоветовской гастропро-  
сидела от меня в ряду соседнем  
и восхищалась

(судя по движенью  
ее головки, сильно поседевшей)  
тем, как потешно прыгал Равикович  
по воле Эдуардо де Филиппо  
в спектакле «Человек и джентльмен»...

А мне хотелось подойти в антракте  
поцеловать ей руку и сказать:

— В тех сумерках

почти безлюдных, мокрых,  
в том ноябре, что светел до сих пор,  
в театр проникал худущий отрок,  
точней — перелезал через забор.

Он забивался в задний ряд галерки,  
и выход чувствам пламенным давал,  
и все свои неловкие восторги  
лишь легким блеском взгляда выдавал.

Полуголодный, черт-те как одетый,  
он был счастливецом с ног до головы  
и юношеские шептал обеты,  
и этому виною были вы.

И если ни чинуша, ни барыга  
не вышли из поклонника того,  
то как сильно сказалось ваше иго,  
влиянье, убежденность, волшебство!

...Так я хотел сказать,  
но — постеснялся.

## ПОХОРОНЫ СТАРОГО ФУТБОЛИСТА

*Памяти Владимира Ищенко*

Был воздух декабря прозрачно-свеж,  
потрескивали тополя студено.

Остановился траурный кортеж  
на полминуты возле стадиона.

Володя!

Ты не видишь, как стремглав  
по гаревой дорожке, в отдаленье,  
к тебе несется, голову задрал,  
румяное младое поколение...

Пока судьба крылата, словно весть,  
оно спешит,

себя надеждой теша,  
что юность вечна,  
что бессмертье есть...

Оно не видит твоего кортежа.



Что тут копыя ломать — хорошо молодым!  
Все, конечно, для них,  
перво-наперво — им.  
И над поездом тучка витает...  
Но чего-то, увы, не хватает.

Есть таежные тропы, и ветер, и снег,  
и не счесть электронно-гитарных утех.  
Тучка есть!  
Не хватает лишь дымки,  
как на старом родительском снимке.

## МАЛЕНЬКАЯ СКУЛЬПТОРША

Г. М.

Наши муки творчества —  
это жалкий лепет:  
ну, прикусишь перышко,  
ну, зашепчешь глухо.  
Маленькая женщина  
великана лепит —  
вот губу оставила,  
вот «залезла» в ухо...

Маленькая женщина  
выпачкана в глине  
и глядит, изверившись,  
на крутую глыбу.  
Что-то намечается  
из неясных линий,  
что-то продирается  
через эту глину.

То, что будет зрелищно  
и монументально,  
супится до времени  
холодно и сыро...  
Маленькая женщина  
и большая тайна  
вечно-бесконечного  
сотворенья мира!

## ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ О ДОЧЕРИ

1

Во первых строках и в последних строках  
и трепет тревоги, и нежности пыл.  
Я девочку эту носил на руках,  
когда ее возраст младенческим был.  
К моей прикасалась ребенка щека,  
меня веселило родства колдовство.  
Я думал, что миг этот длится века!  
Но миг — это миг. И не больше того.

2

Вот мы снова до осени дожили,  
на перроне то хохот, то плач...  
Проводник, передай нашей дочери  
эту сумку — там куртка и плащ.  
Хоть она и писала нам, якобы  
яблок в Киеве — невпроворот,  
проводник, тут — последние яблоки.  
Позвоним, и она подойдет.

Передай, что дожди, мол, отвесные,  
что гуляют ветра в тополях,  
что стоит на перроне отец ее  
и желает ей всяческих благ.

3

За окном снега летели,  
чуть не в форточку пыли.  
Был я счастлив две недели  
посредине февраля.

Ночь над миром нависала,  
вечность тихая текла.  
Я хворал, а дочь вязала,  
а жена блины пекла.

Ничего не надо больше,  
никаких таких щедрот,  
только б вьюга билась дольше  
об оконный переплет,

только б совесть не терзала,  
не грозил бедою рок.

Только б девочка вязала  
тонкорунный  
свитерок!

4

Не сходит смех с дочернина лица!  
Косит на черновик  
с лукавым видом:  
— Опять стихи про бледного мальчика  
среди руин, снегов и инвалидов?  
— Опять, родная... Это он в толпе,  
и он же — в прозябанье одиноком,  
полуживой,  
не зная о тебе  
и вообще не ведая о многом.  
Но если б он не вырвался из лап  
костлявой бабки,  
из ее объятий,  
то не было б тебя,  
и не могла б  
сегодня ты подшучивать  
над батей.

## *5. Зимние каникулы*

Дочь рвется в Киев. Мается, скучна!  
Скучна, мрачна — не приведи господь.  
Мы с грустью замечаем, что она —  
отрезанный ломоть.

Перебрала в родительском доме  
страницы дневниковых прошлых лет  
и снова в Киев тянется... К кому?  
Наверное, секрет.

То рай проглянет сквозь нее, то ад:  
то ангелы хрустально запоют,  
то дьяволы астрально завопят.  
Пора полярных смут.

...Родная, мы варились в сем котле,  
мы рай и ад познали до конца.  
Послушай притчу о добре и зле...  
Отмахивается!

## *6*

Подруги дочери моей  
рожают сами дочерей...  
Все, как положено!  
У них, подруг, секретный вид,  
и дочь моя на них глядит  
чуть растревоженно.

Им поначалу нелегко,  
но что-то шепчут на ушко  
подружке преданной,  
чтоб тыщей тайн ее томил  
подернутый туманом мир,  
пока неведомый.



Дочь! Когда поезд врывается в ширь  
ночи, упавшей на все переезды,  
утихомирь непокорные жесты,  
пыл молодецкий утихомирь.

Может быть, я по ошибке сказал  
что-то не так, я бываю неточен  
в речи житейски-обыденной... Впрочем,  
тут еще спешка, и дождь, и вокзал.

Я ведь на слове тебя не ловлю,  
и на обмолвке меня не лови ты.  
Как пассажиры в ночи деловиты!  
Как я тебя беззащитно люблю!

## ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЯ

(Июнь, 86)

Гипнозом розовых статей  
не усыпить тревоги ноющей.  
Шлем в Киев  
дочери своей  
родного края  
фрукты-овощи.

Хотя по телику вчера  
ученый муж овальной внешности,  
на паникующих ворча,  
винил их  
в массовом невежестве.

Он умный приводил пример  
для утешения растерянных...  
Он знает, что такое бэр!  
Мы вообще не рубим в терминах.

Он говорил, что нет уже  
в столице  
давешней опасности  
и что на новом рубеже  
идет анализ в свете гласности.

Мы рады верить и внимать,  
нам по душе такие новости.

Но в Киев  
снова и опять  
мы посылаем  
фрукты-овощи.



Прозрачны коридоры просек!  
Есть то достоинство у рощ,  
что их с пристрастием не спросят,  
зачем слетают кроны прочь.

И если лист прощально хрустнет,  
случайным башмаком накрыт,  
его никто в никчемной грусти  
по глупости не обвинит.

Как по щеке скользит слеза,  
так обнажаются леса.

И разве кто возвысит голос,  
что без щебечущей возни  
они растерянно, и голо,  
и просветленно ждут весны?

Природа — вовсе не смирёна,  
она чувствительней радара  
к ударам счастья и обид:  
когда ей солнечно — смеется,  
когда ей сумрачно — рыдает,  
когда ей пасмурно — грустит.



Пока я впечатленья просевал,  
пока был новый замысел загадан,  
я тысячу рассветов прозевал  
и проворонил тысячу закатов.

Покуда я строчил о том о сем  
в блокноте  
у Ольвийского причала,  
мне скумбрия серебряным хвостом  
махнула элегично и прощально.

Поеживаясь, утренний мой сад  
исходит светом, маревом струится,  
и я теряюсь: то ль его писать,  
то ль в нем бесповоротно раствориться.

Раздвоенность такая не к добру!  
Немеет горло, тяжелеют веки.  
Ну вот опять:  
одной рукой — к перу,  
другой — к смородиновой ветке.



Здесь раньше дом стоял, теперь его снесли.  
Снесли? Перенесли? Достроили этаж?  
Не узнаем лица родительской земли!  
Обескуражен взор — совсем другой пейзаж.

Минуточку! Но здесь недавно сиротел  
штaketник, и сирень, во всех теснях пазах...  
Как говорили встарь, отеческий предел  
меняется у нас буквально на глазах.

Грустней всего смотреть, как, долетев сюда,  
над улицей круги растерянно чертя,  
не сыщет, хоть убей, вчерашнего гнезда  
беспомощных небес пернатое дитя.



Уж осень расставляет по холмам  
деревья желтые, а кое-где — нагие.  
Элегии не удаются нам:  
другое время — и харчи другие.  
Что раньше было пищею для глаз  
и для возвышенного чувства — пищей,  
как говорится, не колышет нас,  
не оседает на бумаге писчей.  
И для обозначения любви  
нам нужно слово нынешней отливки.  
Мы к звездам отправляем корабли,  
но любоваться звездами отвыкли.  
Конечно, не сойдет нам это с рук...  
Не оттого ли, затуманясь ликом,  
в последний раз  
терзает осень слух  
последним тоже  
журавлиным кликом?



Так медленно светало,  
как будто не хватало  
кармина и лазури,  
чтоб сумерек не стало.

И чайка у причала  
прерывисто кричала,  
и медленное эхо  
те крики возвращало.

Как медленно тянулись  
троллейбусы вдоль улиц!  
Они из парка вышли,  
но не совсем проснулись.

А годы промелькнули  
в молниеносном гуле...  
Мгновенно отсверкали!  
Назад не повернули.

## ПОД КИЕВОМ

Ах, как меркнут в золоте  
тополя у хат!  
Как в дубраве желуди  
по земле стучат!  
И какая тихая  
ночь легла на луг,  
стрекоча, и тикая,  
и звеня вокруг!  
Как туманны заросли  
трав и камыша!  
...И какие замыслы  
пестует душа!



## СЕНТЯБРЬ В ЕЛАНЦЕ

Дремотно и наобум  
отчалила в ночь терраска.

На стол

водружен кавун,  
хозяин зовет:

— Будь ласка!

Обряд хлебосольных встреч  
в Еланце укоренился.

В мою залегает речь  
ласточка украинизма.



Разве любую строчку я предавал бумаге?  
Сколько их нашептал я в очередях, в трамваях  
о прошлогоднем снеге и о весенней тяге,  
о пересохших руслах и журавлиных стаях!

Разве я мелочился, тут же перо хватая?  
Вписывать все в тетрадку — грустный пример  
недуга.

Только б она светила, рощица золотая,  
только б она летала, крохотная пичуга!

Ну, а слова и строчки, выхваченные ветром,  
жили своим укладом, вольным и прихотливым:  
то ли они сквозили  
ласточками над сквером,  
то ли они скользили  
чайками над заливом...



Давно под асфальтом схоронены травы,  
и в гари бензиновой проносятся «Явы».  
Гогочут наездники, глохнет прохожий,  
стенают за окнами жэковских лоджий.

Верхом на моторе — лихая житуха!  
Взвывая,  
    рубаху, как пламень, взвивая...  
— Ребята, а как в отношении духа?

...Не слышат. Грохочет труба выхлопная.



Потонул трамвай  
в горганном гаме,  
юбок грохнули колокола.  
Это все оседлые цыгане —  
жители недалекого села.

Есть у них давно уже прописка,  
нет у них давно уже коней,  
но летят еще вдогонку искры  
тех шатерных  
и тележных дней!

...Глянет  
            молодая, но седая  
разудало в сторону мою:  
— Подходи, красивый, погадаю,  
все, как есть, скажу — не утаю.

И сверкнут во взгляде —  
  мглистом, что ли, —  
обжигающие до нутра  
угольки  
степной, цыганской воли  
из того  
последнего костра!

## ПРИМЕЧАНИЕ К ПУТЕВОДИТЕЛЮ

За окошком автобуса степь,  
бесконечная, как поученье.  
А у вас от друзей порученье:  
на очаковский рынок поспеть.

Угадаете в самую рань,  
позабудете пекло и тряску  
и возьмете гремящую связку,  
именуемую — тарань.

Золотистые спины детей,  
о Невиданной Скумбрии споры.  
Не поверите — даже заборы  
здесь из старых рыбацких сетей.

Ими ловят зарю и закат,  
в их ячейках

июльские ночи  
оставляют ворсистые клочья,  
и они на рассвете шуршат.

Описать обнаженность песка,  
тень, бегущую косо от тента,  
одного лишь не хватит оттенка,  
одного не достанет мазка.

## К ВОПРОСУ ОБ ИЗВЕСТНОСТИ

Солнца огненные запасы  
по окну моему разлиты.  
Я известным не просыпался,  
просыпался забытым-забытым.

Просыпался в белой хате  
под сусальными образами.  
Мне девчонки в рыбацкий катер  
с провиантом торбу бросали.  
А в той торбе  
    хлеб-паляница,  
        с целой артелью  
            можно делиться.

За далекой косою песчаной  
ни баркаса, ни маяка.  
Одинокой чайкой пищала  
купоросная маета.

Своевольное море!  
    Тщетно  
я честил тебя в хвост и в гриву.  
Обдувало меня ты щедро,  
но хитро уводило рыбу.  
Уводило и уводило,  
лишь маячил плавник,  
                    как парус.  
Но однажды не уследило,  
кемарнуло.  
    Она попалась!

И, насквозь пропахшие сельдью,  
кривоногие рыбаки  
молчаливо за мною следом  
шли,  
и в зависти велики!

Солнца луч по стеклу рассыпался,  
непоседливый, как бесенок,  
когда в хате я просыпался  
знаменитый  
на весь поселок.

## НАСТИНА ЮНОСТЬ

Если мартын высоту наберет  
и с высоты опрокинется круто,  
Федька Захарченко знал наперед:  
это гуляет косяк баламута.

— Настя! — кричал он. — Да где же ты,  
Насть?!

Брось огородничать, будь ты неладна! —  
(А в голове — только парус и снасть,  
а в голове — только руль и шаланда).

Та под собою не чуяла ног,  
не заводила пустых разговоров  
и успевала собрать в узелок  
хлеба краюху, яиц, помидоров...

Море шипело в прибрежном песке,  
солнцем, и солью, и пеной блистая.  
Где там таятся, в каком далеке  
голубоватая сизая стая?

Море казалось тогда молодым:  
вылитый парубок! чистый рыбалка!  
Вон уплывает в розовый дым  
Федькина латаная рубаха.

Настя на волны кидалась, смугла,  
грудь наполнялась волнением смутным.  
Настя тогда молодою была.  
Скумбрию звали тогда баламутом.



## У САМОГО МОРЯ

*Л. Белоконю*

Если б город я оставил  
и уехал налегке,  
я бы дом себе поставил  
на Кинбурнском  
на песке...  
Чтоб румянилась заря бы,  
как на противне пирог,  
чтоб малюсенькие крабы  
прибегали на порог.  
И, конечно, в доме этом,  
где у входа три ветлы,  
николаевским поэтам  
я бы отдал все углы.  
Пусть бы каждый в уголочке  
душу творчеством томил  
и писал такие строчки —  
хоть куда!  
Хоть в «Новый мир»!  
Суета и бредни — мимо!  
Бег пера, как скрип весла...  
Ну, а под вечер Людмила  
нас бы к ужину звала.  
И под наши разговоры  
о достоинствах строки  
шли бы только помидоры,  
хлеб, и брынза, и бычки.  
Про возвышенное Слово  
тут бы всяк судил-рядил,  
и глоток вина сухого  
нам бы вряд ли повредил.

Жаль, что день такой короткий,  
жаль, что ночь на волоске.

Жаль, что дома нет,  
который  
я построил  
на песке.



В полсотне шагов от вокзала  
в пурпуровой юбке, смугла,  
та женщина рядом стояла  
и тоже маршрутку ждала.

Рассеянно взглядом тянулась  
к афишам на ближней стене.  
Рассеянно так улыбнулась,  
и мне показалось,  
что — мне.

Поверилось сразу не в шутку,  
что будет легчать на душе,  
что можно дождаться маршрутки,  
и счастье догнать,  
и вообще...



Растворила речная вода  
облаков розоватые перья.  
Не грозит никакая беда!

Но куда прозорливей теперь я,  
осмотрительнее куда!

И за свадьбой грачиной гортанной,  
и за вкрадчивой фразой гитарной  
различу настороженно вмиг  
чей-то всхлип,  
чей-то вздох,  
чей-то крик.



Как за окнами стонут деревья  
в ледяной синеве!

«Переходим на зимнее время», —  
подтвердило ТВ.

Остывает реки побережье,  
затихает яхт-клуб...

И слетают признания реже  
и внезапнее с губ.

Пламенеет листва на платане —  
что за дивный пожар!

Предпоследними полон плодами  
разноцветный базар.

Взгляды — пристальной,  
думы — добрее,  
устремленья чисты.

Переходим на новое время.  
Переводим часы.



Длинные льдины Ингула  
стали с утра на торец.  
Это — начало загула,  
это — дремоты конец!

Это с прикола сорвался  
мартовский шквал-дебошир.  
Это грачами Саврасов  
рощу уже всполошил.

Это лазурь поднебесья  
в душу надежду внесла.  
Старая, скажете, песня?  
Полноте — снова весна!

## ОБИДА

Почему он стучит кулаком  
и ногами от гнева топчет?  
Что он хочет?  
О чем он хлопочет,  
всё и вся понося тенорком?

Взгляд невидящий  
                                солью набряк.  
Мир окрестный — двоится, троится  
и уже рассыпается в прах...

Люди, люди, что с нами творится?



Такая тугая была тишина  
у рощи ли сонной, у синей воды ли!  
Вопросы жилья и проблема пшена  
от зрелищ великих меня уводили.

Когда проступал лихорадочный жар  
на листьях, пеняющих знобкому миру,  
в приходную кассу я рысью бежал,  
чтоб только успеть заплатить за квартиру.

Не в степь, что была от ромашек бела,  
не к пене прибоя, не к тропам Казбека,—  
как данника, Муза звала и вела  
то в общий вагон, то в приемную ЖЭКа.

И там среди крика, побасок, молвы,  
под говор старух и сопенье младенца  
я вдруг удивлялся куску синевы,  
который в окно сиротливо гляделся.



## ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ ОБ ОТЦЕ

1

— Пиши мемуары, — отца я просил. —  
Листочек какой-нибудь за день!  
А он отвечал: — Ты, наверное, сын,  
смеешься. Какой я писатель?

Пожаром трех войн опалило меня,  
но, если задуматься трезво,  
то сколько их было — таких же, как я!  
Кому это все интересно?

Худого не скажет никто обо мне —  
на хлеб зарабатывал честно.  
Но я вопрошаю серьезно вполне:  
кому это все интересно?

Тут всяк пребывает в своей правоте,  
приказывать тут неуместно...  
И пусть о себе сочиняют лишь те,  
кому это все интересно.

2

Слабым голосом отец  
запевает о Байкале —  
о священном, дорогом  
и навеки незабытом.  
Вспоминает землю ту,  
что своими грел боками,  
что кормилицей была  
и приютом,  
но — не бытом.

Он печалится, отец,  
что хиреет прежний омуль,  
что моторки по воде  
тарахтят невыносимо.  
Он, признаться, удивлен:  
разве трудно по-другому  
там порядок навести —  
без бензина-керосина?

К тексту тянутся глаза,  
и слеза над песней стынет.  
Он поет про Акатуй  
и со мной, и в одиночку...  
И на тех, кто осквернил  
берега для всех святые,  
омулевую свою  
катит, катит, катит бочку!

3

Вопросы подобного рода  
всплывают в его голове:  
какая стояла погода,  
как Стеньку казнили в Москве?

Казалось бы, что ему Стенька  
и все вековечное зло?  
Была бы нежесткой постелька  
да грубка давала тепло.

Но снова, и снова, и снова  
он мучим проблемой одной  
касательно автора «Слова»,  
чье имя за тьмой временной.

...Не мыслью о грани угрюмой,  
а хворям любим вопреки  
гражданской терзаемы думой  
отечественные  
старики!

4

Отцу приснился младший брат умерший,  
всего-то в жизни прожитой умевший  
печатать снимки, помыкать женой  
и в родственном кругу тряхнуть мошной.

Он сетовал на долгую разлуку,  
протягивал отцу худую руку  
и вел по свежетесанным торцам,  
а вот куда, отец не помнит сам.

Шумели тополя, клубились дали,  
два старика беспомощно рыдали,  
и младший руку старшего держал,  
и вел, и по дороге утешал.

— И вот не разобрался я в итоге,  
куда мы шли по странной той дороге,  
и утешал зачем средь бела дня  
не я его, а только он — меня?..

5

Я знаю каждую черту отцовского лица,  
и студенистость сизых щек,  
и жесткость подбородка,  
и как рельефны и туги морщины у отца,  
и как лицо себя ведет то истово,  
то кротко.

Оно в недавние года глядело на меня  
(еще в недавние года!) решительно  
и властно,  
но поубавилось в глазах библейского огня,  
и поселилась в них печаль, горька  
и непролазна.

Любую жилку знаю я и каждый бугорок...  
(Пришептываю, бормочу, светлею  
и добрею).

Я вызубрил его лицо, как будто бы урок,  
еще движение одно — и я его добрею.

6

Окрестность, потонувшая в дожде,—  
гнилой зимы унылая оттяжка.  
Отец твердит, что тяжело на душе!  
Причины нет, но почему-то тяжело...  
— Погодные явления, отец!  
Гляди, как оплошала атмосфера.  
И даже привожу какой-то текст  
из свежего «Здоровья»  
для примера.  
Отец согласен. Так тому и быть.  
Полезно, самому себе в угоду,  
о возрасте  
на времечко забыть  
и все свалить на хлипкую погоду.

7

На склоне стариковских лет,  
бог знает кем и чем храним,  
отец передает привет  
последним сверстникам своим.

Они еще покуда есть,  
его старинные друзья.  
По пальцам можно перечесть  
их имена и адреса.

Устав на немочи роптать  
и проглотив декамеvit,  
отец земную благодать  
в последний раз благодарит.

Звезде, истлевшей в небесах,  
и розе утренней тугой  
он машет  
                    в стынущих слезах  
своею старческой рукой.

8

До болезни отцовской и я выключал  
телефон, чтобы он не гремел по ночам:

то ошибка, то некто, на шутки горазд,  
вам в течение ночи покоя не даст.

...Нынче раннею ранью зальется звонок —  
обмирает душа, холодеет висок.

Я за черную трубку хватаюсь рывком...

Это он!

Это он!

...Не о нем. Не о нем.

## ВЫСКАЗАТЬСЯ!

Истина на языке вертелась!  
Может, оттого  
высказаться — вот чего хотелось  
более всего.

Нет, не потирать ехидно ручки,  
не слезу точить, —  
истово, распахнуто, по-русски  
душу облегчить!

Все, что накипело накануне,  
нет, не шепотком —  
в полный голос!  
Даже по трибуне  
грохнуть кулаком.

Не по нас — в закутке почивая,  
жар гасить в груди.  
Древняя привычка вечевая —  
на́ люди идти.

Чтобы слово чести трепетало  
на большом ветру.  
Чтобы поскорее делом стало  
к общему добру.



Пишу для хроникального кино.  
Мир сотворяю.

Труд невероятный!  
Как листья, умирают варианты,  
которым стать мирами не дано.

Стараюсь жизнь заранее угадать:  
тут протяну пейзаж движением плавным,  
а тут лицо героя крупным планом  
задумчивое — а? — неплохо дать.  
Поэма глаз. Не пакло чтоб игрой.  
Доходчивость. Не прибегать к загадкам.  
Пусть скажет диктор сведущий за кадром  
все, что сказать забудет мой герой.  
Ну что сценарий в хронике? Пустяк.  
Неумная, смешная директива,  
как поступать. Прочтем ее гугниво  
и все-таки поступим мы не так.  
Не так пойдем. Оденемся не в то.  
Где нужно развязать конфликт — завяжем.  
Не так мы сядем. И не то мы скажем.  
И пуговицы нету на пальто.  
Но вдруг преобразится полотно  
на миг.

Он, он!

Ершится так же прядка...  
О, как это мучительно и сладко —  
писать для хроникального кино!



Что голос был — и вдруг пропал,  
нет нужды никнуть головами.  
Я не иссяк. Я чистый пар.  
Никчемны ваши гореванья.

Я чистый пар. Моя земля  
пустует, птицу одуряя,  
не принимая ни зерна,  
ни колоском не одаряя.

Я чистый пар. Пусть дождь идет.  
Пусть волк межу перебегает.  
Но буйство будущих щедрот  
уже теперь меня пугает!





У соседа ремесло  
дальнего замаха:  
сколько из чужой дуды  
песен выдувал!  
На столе моем скулит  
чистая бумага,  
но чужое за свое  
я не выдавал.  
Корешки томов томят  
мудрой позолотой,  
там сюжетов — завались,  
там идей — навал.  
Ну, займи, перелицуй,  
ну, переработай!  
Но чужое за свое  
я не выдавал.  
Там синеют небеса,  
леденеют лужи,  
там розложистый овраг,  
листьев лоскутье.  
Я другое вам спою —  
лучше или хуже,  
то иной уже вопрос, —  
но зато свое.  
Тут шумят мои дожди  
и мои закаты,  
тут плывут мои суда,  
как ни крепок шквал.  
Тут мои на парусах  
знаки и заплаты...  
Но чужое за свое  
я не выдавал!



Еще один сосед. Он в прошлом подрывник.  
Мы судим жисть-жистянку,  
и стынет чай в стакане.

Но вдруг он объявил:

— Вот, балуюсь стихами...-

И вытащил блокнот усатый баловник.

Тогда и началось!

За строкой строку

он бодро выдавал, поводя зрачками.

А что, коли скажу ему, подрывнику,  
что на досуге балуюсь взрывчаткой?!

## У ТЕЛЕФОНА

*И. Старикову*

Я говорю: Илюша,  
душа твоя добра.  
Ты час, пожалуй, слушал  
стихи мои вчера.  
Стоял, о дверь прихожей  
спиною опершись,  
твердя одно и то же:  
— Давай, давай — не жмись! —  
А мне того и надо!  
Ей-богу, это честь  
и высшая награда —  
хоть в трубку, а прочесть  
тот стих,  
        пускай пустяшный,  
но дышащий уже,—  
хотя б одной путящей,  
одной живой душе.

## СТУДИЯ

Во Дворце пионеров работал —  
так однажды бюджет обязал —  
и румяным девчонкам, ребятам  
назначенье стиха объяснял.

Был суров мой дотошный анализ,  
были прения

горячи.

А в соседнем кружке занимались  
барабанщики и трубачи.

Мы и дверь притворяли тугую,  
прищемляли напеву крыло,  
нам и комнату дали другую —  
ничего уже не помогло!

Мы сплеча наши оды судили,  
посрамленный рыдал мальчуган.  
Ну, а трубы свое выводили,  
и стучал, и стучал барабан.

И, как дым, отлетали печали,  
и невольно в ребячьей строке  
барабаны и трубы звучали  
на бессонном своем языке.

За окошком

в летящей столбами  
золотистой закатной пыли  
трубачи невесомо ступали,  
барабанщики тихие шли.



Как зыбкий полусвет, струится с полотна  
одни полутона, одни полутона.

Неясный горизонт, размытый небосклон.  
Одни полутона — куда девался тон?

Как хочется порой бежать обняков,  
увидеть грани туч, массивы облаков,

категоричность крон, развеявших листву  
и теплящих в ветвях смятенную звезду...

Все оговорки — вадор, и вся задача в том,  
чтоб дать прямой ответ — куда девался тон?



Может, правда, я старею,  
может, трезвым становлюсь:  
к бесшабашному хорею  
много реже я тянусь.

Чтоб размер ложился лучше  
и не сбиться чтоб с пути,  
«Мчатся тучи, вьются тучи»  
не шепчу уже почти.

Уступаю. Это явно.  
Слог по-новому тяжел.  
Не к тебе ль я подошел,  
о железный возраст ямба?

## ПРИТЧА О ДВУХ ЗАЙЦАХ

*Б. Слуцкому*

За двумя гоняюсь  
зайцами. Охота!  
Целый день слоняюсь  
в поисках строки.  
Гневаясь, терзаясь,  
вижу: первый заяц  
неостановимо  
стрекача дает.

Не пора ли взяться  
за второго зайца?  
Мел крошится в пальцах,  
тянется урок.  
Взрослые ребята,  
детская работа —  
выписать глаголы,  
где частица «ся».

Вдруг (узнал бы завуч!)  
первый беглый заяц  
выскочил из снега —  
найдена строка!  
Вот она! На зависть!  
А второй мой заяц  
боком, боком, боком  
шасть в кусты — и нет...

Он уже далёко.  
Нет уже урока.  
Взрослые ребята,  
взрослый вы народ...  
Этот первый заяц,  
с ним всегда морока:  
больно след петляет,  
и метель — в глаза.



## ЖИВОПИСЦАМ

Вам с вашим делом

маета:

и холст грунтуй, и кисти чисть.

А наша миссия проста —

глядеть в окно да грифель грызть.

Не нужно краски растирать,

вертеть моделью так и сяк.

Себя меж строчек растерять —

какой, казалось бы, пустяк...



В прошлом друзья, как один, хороши!  
Там, за годами, — ни лжи, ни рогатин.  
Небо отвесно.  
Простор неогляден.  
Все вызывает оттуда:  
— Пиши!

В той далине — идиллический пруд.  
Детство. Деревня. Вода из колодца.  
Прошрое  
                                краске и слову  
  сдается,  
а современность в атаке берут.

В прошлом — чего же, там все улеглось.  
Здесь  
                        ничего еще толком неясно.  
Но потому-то оно и прекрасно —  
это сплошное  
небось да авось!



Нет, никогда я не буду, обидясь,  
букой торчать среди вас, молодых.  
Вы — сочинители, я — летописец,  
вы — фантазеры, я — бытовик.

Это страданье мое, а не льгота,  
не преимущество, просто беда:  
рельсы мои сорок первого года,  
сорок шестого — моя лебеда.

Я поздновато, но все ж докумекал:  
превозмбгая лирический гнет,  
в строчке

        желание стать документом,  
не остывая с годами,  
живет.



Так получалось,  
                                что за неимением  
другого, чьи таланты знамениты,  
ко мне с любимым своим стихотворением  
тянулись корабельные пииты.

Так получалось,  
                                что от них я требовал  
всего, что Мастера нам завещали:  
затвора, и горения, и трепета,  
сочувствия, и страсти, и печали.

Так получалось,  
                                что над песней собственной,  
помарки множа, варианты множа,  
учитель бился головою об стену,  
а толку — чуть!  
И сизнова за то же...

Так получалось,  
                                что глубокой полночью  
при полном свете, при закрытых ставнях  
подушку комкал и стонал беспомощный,  
незнанием поборотый наставник.

## ПОД ГОРЯЧУЮ РУКУ

Вы, которым торил я дорогу  
к рифме, к ладу,  
точней — к небесам,  
хоть бы раз позвонили, ей-богу,  
и спросили, чего написал...

Вы меня, умоляю, не чтите,  
почитание — это мура.  
Вы меня попросите:  
— Прочтите  
то, что вы написали с утра.

Не попросите. Сдержанно-трезвы.  
«Как здоровье?» — и то на бегу.  
Я не только к стихам вашим врезы —  
я свое еще врезать могу!

Вот сижу, ковыряюсь в блокноте,  
безответное слово твержу.  
Что скажу?  
Далеконько пойдете...  
Вот, пожалуй, и все, что скажу.

## ВСТРЕЧА В КИЕВЕ

Вдруг незнакомец мне  
протягивает руку  
и говорит о том,  
как год тому назад  
читал мои стихи  
товарищу и другу,  
чтоб как-то усмирить  
души его разлад...

— Была в стихах у вас  
доверчивая нота,  
и отклик у него  
нашла она тотчас...

О боже, как мечтал  
когда-то от кого-то  
такие вот слова  
услышать хоть бы раз!

Мой голос угловат  
и с каждым годом тише,  
в обойму не вхожу,  
у рампы не стою,  
но в мире есть чудак,  
и он, мою слыша  
строку, пускай на миг  
унял печаль свою!



От хрустально-мебельного дива,  
от разгульно-сытого стола  
рифма, может быть, отгородила,  
строчка, может быть, уберегла.

Были всевозможные соблазны,  
и во что там ни рядилось зло!  
Но, смущая высью,  
  безотказно  
все-таки  
  спасало  
  ремесло.



Одинокая женщина в сквере пустом,  
где последняя зелень увяла,  
свой задавленный крик,  
свой неслышимый стон  
второпях кое-как рифмовала.  
Не понять — то хорей осенил или ямб,  
только знает — оплачено болью.  
«Кровь — любовь» — никакой

это вовсе не штамп,  
это кровь вперемешку с любовью.  
Да, она никогда не писала поэм,  
и признания в ветхом блокноте —  
не поэма,  
а просто: кому, мол, повем?  
Истязание духа и плоти.  
Этажей на закате пылают верхи,  
радиола вопит издалёка.  
Одинокая женщина пишет стихи,  
потому что она одинока.



## МЕРА СИЛ

Не какой-то там художник  
с метою на лбу,  
в меру сил своих возможных  
перышком скребу.

Все хочу свою манеру  
в свой впечатать стих,  
но, конечно, в меру, в меру,  
в меру сил своих.

В меру тех прибрежных сосен,  
шлюпок на плаву.  
В меру зим и в меру весен  
края, где живу.

В меру жизни, в меру века,  
неба и земли  
и того вон человека  
в утренней дали...



Льется дождь —  
  не осенний, не летний,  
из разряда упорных тихонь.  
Нет работы смешней и нелепей,  
чем дописывать книгу стихов.

Дописать можно пьесу и очерк  
и родне благосклонной прочесть,  
а у этих немерянных строчек  
где последняя точка? Бог весть.

Что пойдет для зачина?  
  Любое:  
дебаркадер,  
  паром,  
  облака  
и прищуренный, из-под ладони,  
взгляд худого, как жердь, старика.

Ну, а что в завершенье? Неужто  
подводить, как в конторе, итог?  
Трос гудит тяжело и натужно,  
берег близок и вместе — далек.

## ПОЧЕРК

Под воем бомбежки  
дрожала ручка  
в руке третьеклассника —  
в почерке это осталось.

Эта же ручка,  
не дописав предложения,  
выпадала из той же руки,  
ослабевшей с недоедания, —  
в почерке это осталось.

Звезды салюта  
освещали тетрадный листок,  
по которому ручка  
восторженно прыгала,  
господи, радость какая!  
В почерке это осталось.

Неужели мало, чтобы иметь  
какой ни на есть  
собственный почерк?

## МУЗА

Под весенним бурлящим дождем  
я шептал монолитному небу,  
что забыл, для чего я рожден,  
на какую такую потребу.

И хотя лопотали листвою  
освеженно  
  дубы и березы,  
ликовал за мою спиной  
неразгаданный заговор прозы.

...Отодвинув мирские дела,  
безразлична к базарному шуму,  
ты меня повела, повела  
в чисто поле  
на чистую думу.

Средь простора великого,  
  среди  
простодушных цветов яркоглазых  
приказала сквозь тучи прозреть  
пресловутое небо в алмазах.

Повелела глядеть веселей,  
к отступленью пути отрубил  
и о замысле жизни моей  
так напомнила,  
  как протрубила.



Взбешенный от бледных чернил,  
и робость кляня, и смиренье,  
когда-то и я сочинил  
последнее стихотворенье.

Сквitalsя со скорбью земной,  
последнюю выправя строчку,  
и с кляксу величиной  
поставил  
последнюю точку!

И чтобы открыто сказать,  
как рифменный лад опротивел,  
я новую начал тетрадь  
и новую строчку в ней вывел.

# КИНБУРНСКИЙ БЛОКНОТ

## 1

Над хатой рыбацкой висит  
дождя серебристая пряжа...  
О, буду ль когда-нибудь сыт  
дарами родного пейзажа?

И разве настанет пора,  
когда мне избыточно хватит  
соленой моряны с утра,  
малиновых туч на закате,

той дали, откуда растет  
волны искрометная глыба,  
той глуби, откуда вот-вот  
поднимется красная рыба,  
той выси, белесой чуть-чуть,  
над грозным прибоем гривастым?..

О, взглядом все это втянуть!  
О, памятью все заграбастать!

## 2. Звезды

Сняв на Кинбурне дом —  
хибарка — три на шесть, —  
я убедился в том,  
что звезды в небе есть.

К тому же каковы!  
дыханье затая,  
стою — и головы

СКЛОНИТЬ  
не в силах я...

Их мириады тут —  
на крышах, на ветвях.  
Кольшутся,  
ползут,  
срываются впотьмах.

Отражены в росе,  
в стогах, в зрачках жены.  
Ужели в атлас все  
они занесены?

Как запылала вдруг  
не знаю — хоть убей! —  
Медведиц триста штук  
и сто Кассиопей!

3

Ни окрика, ни зова,  
оконце бирюзово,  
озноб рассветный ходит,  
виски прилежно студит.  
Но, кашляя бензином,  
моторка рыбнадзора  
ворчаньем и урчаньем  
меня в Покровке будит.

Волной от глаз сокрыта,  
ушла куда-то рыба,  
витают над артелью  
дыхание позора.

А по морю кургузо  
гребет одна медуза  
да злая с недосыпа  
моторка рыбнадзора.

*4. Кучугура бабы Домны*

Прожаренные кочегары,  
губу закусывая,

мы

карабкались на кучугуры —  
на те песчаные холмы.  
Там баба Домна дом забила,  
соседка малость подсобила:  
на случай ранних зимних вьюг  
крест-накрест дранкою оббита  
стена.

Не вызов, не обида —  
замкнулся некой жизни круг.  
О, кучугура бабы Домны!  
Отсюда широко видны  
движенье мерное волны,  
прибоя пенистые тонны.  
А где ж сама? В Очаков двинула,  
и хату, и леваду кинула,  
от бурь песчаных, от снегов —  
к сынам, к невестушкам. Агов!  
Но кабачки ее добреют,  
и помидоры ее зреют,  
и вьется крученный паныч,  
и запах яблочный пьянит.



*В. Пучкову*

Уводит побережье  
горячее, сквозное  
аж в небо,  
                    побуревшее  
на выморочном зное.

Горчит текуче-светлая  
эфирная маслина.  
Бушует страсть кассетная  
то Аллы, то Муслима.

Комар звенит занозисто  
и тоже ищет тени...

А чайки  
шумно  
носятся,  
как новые идеи!

*6. Баллада Парфентия Бородина*

Рассветная глушь, облаков редина —  
угодья Парфентия Бородина.  
Беспечные сны отоснились ему:  
жена в онкологии, теща в доме,  
корова на выгоне, овцы в хлеву,  
да хлицкий рыбацкий баркас на плаву.  
Он раннею ранью мотор заведет,  
и шлепнется рядом волны завиток.  
Он выйдет в открытое море, туда,  
где чистая синь, где беда — не беда.  
...Он глянет назад, и замлеет душа:  
за ним его хата плывет неспеша.

И сизый дымок над квадратной трубой  
уходит в просторный раствор голубой.  
Не шустрый дельфин, не лихой баламут —  
корова, и овцы, и псина плывут,  
и морды их, задранные к небесам,  
взывают к его сердобольным глазам.  
А следом — две женщины. Нету родней  
двух этих безропотных тихих теней.  
Они отстают от коров и овец,  
и надо помочь им, иначе — конец!

Но глохнет мотор посредине воды,  
как знак неминуемой беды.  
И в синей купели следит Бородин,  
как тает над хатою дым.  
И он прозревает под чаек галдеж:  
от горя тайком не уйдешь.

И в яркий, прозрачный, морской купорос  
он медленно плачет  
без слез...

7

Когда баркас трещит, как ящик,  
от берега недалеке,  
доверчив человек, стоящий  
на пеной залитом песке.

Сюда, где ветрами отпеты  
маслин кипящие верхи,  
принес он новые обеты  
не множить старые грехи.

Он взглядом море обнимает,  
и оком, и облака,  
и с новой силой понимает,  
как жизнь свежа и коротка.

Так полны прелести мгновенной  
ее земные рубежи,  
чтоб их марать едучей пеной  
своекорыстия и лжи!



Сколько радости было отпущено  
не на день, не на два!  
Приступал к изучению Пушкина —  
сам светился до дна.

Почему-то доверья к учебникам  
никогда не питал.  
Объяснял я поэта вечерникам  
тем, что просто — читал.

О, глаза увлажняются!...

Ли́ра ведь,  
лад нездешний почти!  
Содержание что ж комментировать?  
Дай-то, бог, донести.

Половина прочитана томика,  
а усталости нет.  
Вот мой опыт, премудрость, методика,  
весь по сути секрет...

## ПРОЩАНИЕ С ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛОЙ

Подумай о пенсии, мне говорят,  
и стаж не теряй педагога.  
Но ходу уже не давая назад,  
другая сманила дорога.

Там в счет не берется  
ни выслуга лет,  
ни ранги, ни сумма усилий,  
а только из песни струящийся свет  
да шорох распластанных крылий.

Ах, этой дороги зловредная власть,  
о, как она судьбы калечит!  
На ней оступиться, упасть, запропасть —  
всего вероятней и легче.

Я лавры другие совсем пожинал  
на праздничной ниве урока...

Сказал «до свиданья»,  
заполнил журнал  
и все же топчусь у порога.

Прощай, моя школа!  
Прощай — и молчок.  
Не бей понапрасну тревогу.

Как медленно вешаю я на крючок  
учителя строгую тогу!



Меня уж в лицедеи не зачислить,  
я не комедиант, в конце концов.  
Но все-таки,  
        коль взять да поразмыслить,  
я — Действующее лицо.

Я действую!  
        И та волна крутая  
мой суда качает на плаву.  
Я дочь рашу.  
Черешни я глотаю.  
Я умираю.  
        Стало быть — живу!



Два ангела в больничном коридоре,  
спасибо вам за то, что навестили.  
Недуг? Всерьез болтать об этом вздоре,  
я так скажу, оно не в нашем стиле.

Во двор вас провожу. И на скамейку  
вас усажу, и сам усядусь с краю,  
и что-то вам, смеясь, напривираю  
про жисть-жистянку и судьбу-индейку.

Вы говорите, дескать, неуместно  
смеяться тут и прыскаете сами,  
одна — не так красива, как прелестна,  
другая — с богохульными глазами.

Волшебницы, я завтра ожидаю  
вас возле этих голубых скамеек  
и настоятельно предупреждаю:  
рассудку вопреки —  
люблю обеих!

## СОЖАЛЕНИЕ О ГИТАРЕ

Вырвав тело свое из автобусной давки  
и домой возвратясь, я бываю в ударе,  
мне чего-то потребно!

Припомнить лишь дайте:  
я хотел научиться игре на гитаре.

Не всегда ведь вопросы питанья, поймите,  
да и шмутки, в конечном итоге, — детали...  
Я мечтал улыбнуться и из дому выйти,  
если б кто-то меня научил на гитаре.

Ну зачем же такой вариант — подворотня?  
А бульвар над рекой?  
Я бы мог на бульваре!  
Разве я в телевизор глядел бы сегодня,  
если б мог рассказать о себе на гитаре?

Иногда ведь себе расслабленье позволишь  
да и душу оплачешь — в замоте, в прогаре...  
Все бы это пустяк!  
Только мучит одно лишь:  
не сподобил господь нас игре на гитаре.



## КОРИДОР МУЗУЧИЛИЩА

Этот сельский парнишка... Ужели и правда судьба так сложилась, что в ней откровением стала труба? Коридор музучилища тесен и чуть темноват, музыкальная фраза взмывает то в лад, то не в лад, приглушенно, слегка отрешенно (рыдает? корит?)... Словно кличет куда — только адреса не говорит. То ли под вечер в поле стволы кукурузы шуршат, то ли птичьи кочевья в туманные страны спешат, то ли с дальней толоки по коврику поздней травы забредает буренка родная в чужие дворы. И лиманные воды утрами встают на дыбы!



Ты пока и свеж, и молод,  
стать твоя крепка.  
Только Лета моет, моет  
жизни берега.  
Ты еще твердишь про это  
в круговерти дней.  
Только манит, манит Лета  
искупаться в ней.  
Ты испытываешь волю,  
но искус велик  
окунуться с головою  
хоть на краткий миг.  
Ты пока еще в расцвете,  
день с утра хорош.  
Но саженками по Лете  
ты уже плывешь...



Сутулы и ворчливы,  
еще пока мы живы,  
еще любая кара далека.  
Но хочется, чтоб дальше —  
ни кривды и ни фальши,  
а правда, как бы ни была горька.

«Заманчивые речи!  
Нельзя ль чего полегче?» —  
осаживают мудрые друзья.  
Оно бы можно вроде,  
да сердце на исходе.  
Оно бы можно вроде, да нельзя.



Мне видится рассвет над склизкой пашней  
в тревожной розоватой пелене,  
где дядя Яша, без вести пропавший,  
раскинул руки по сырой стерне...

Там танк подбитый горбился в кювете,  
там куст калины до листка продрог,  
и никакой Бугуруслан<sup>1</sup> на свете  
об этой пашне  
рассказать не мог.

Как эту землю боем раскалило,  
не донесли до правнуков слова  
ни без вести пропавшая калина,  
ни без вести пропавшая трава.

---

<sup>1</sup> *Бугуруслан* — город, где во время войны находился Всесоюзный адресный стол.

## К ПЕРЕЕЗДУ БОЛЬНИЦЫ В НОВОЕ ЗДАНИЕ

До свиданья, старый корпус,  
наши охи, вздохи наши.  
Начинаем жить сначала —  
все иначе, все иначе!  
Краской свежее блистают  
шпингалеты, трубы, скобы...  
Что за ящики у входа?  
Говорят, что бронхоскопы.  
В зал лечебной физкультуры  
привезли ковер бельгийский,  
и вычеркивает строчку  
главный врач  
в длиннющем списке.  
У него у самого-то  
ни стола еще, ни стула.  
Но зато сквозь щели окон  
мартом облачным подуло!  
...Накрахмалены простынки,  
глянцевиты занавески.  
За окном регистратуры  
виден дрозд  
на мокрой ветке.  
Так-то все оно красивей!  
Так-то все оно прелестней!

...Только тянутся за нами  
все истории болезней.

## НОВАЯ ВЕСНА

Весна наступает. Она наступает  
на берег реки  
и корочку берегового припая  
крошит на куски.

Она наступает —  
                                не детская шалость,  
каприз или трюк —  
на все, что застыло,  
на все, что слежалось  
под натиском вьюг.

Угрюмый сугроб у стены оседает —  
тихонечко чтоб...  
Она за какие-то сутки съедает  
и этот сугроб!

## БАЛЛАДА О КОВРОВОЙ ДОРОЖКЕ

Наконец-то, через много лет  
показали в хроникальной ленте  
то, что мы видали так давно,  
а теперь немного подзабыли,—  
как Гагарин шел, не замедляя  
шага,

                  полного упругой силы,  
по ковровой праздничной дорожке  
к Первому секретарю ЦК...

Кто решил урезать эти кадры?  
И какая в них была крамола?  
Чья рука в лакейском поспешанье,  
ножницами клацая, решилась  
чутьочку историю подправить?

Это все вопросы без ответа.

Но идет Гагарин летным полем,  
он идет одно десятилетье,  
а потом, глядите, и второе,  
а потом и третьего порядком  
прихватил

                  и взял под козырек  
пред тогдашним лидером партийным.  
Так история восстановилась.  
Мир не рухнул.

                  Не остановилась  
жизнь.

                  Но чище стало на душе.



Провидцем я не был,  
и мартовским днем  
под пасмурным небом  
рыдал я по нем.

И доля безумства  
в том плаче была  
по власти угрюмства,  
по святости зла.

Кручинился кроткий  
воспитанный раб,  
что вырван из глотки  
спасительный кляп.

И темную милость  
во взгляде храня,  
с портрета  
                                кормилец  
глядел  
                                сквозь меня.



## ДНЕВНИК



Птицы тем еще привлекали,  
что, казалось, не прилагали  
ни старания, ни усилий  
для ширяния в бездне синей.

Ну, а нас — тяготили гири,  
то одни они, то другие:  
служба, хворь, полоса замота,  
нету времени для полета!

Вот разделаемся с делами  
и несмело качнем крылами,  
и расправим их  
в той же бездне,  
и небесные  
сложим песни...



Душа — непрочный матерьял,  
конечны все ее пожары.  
А ты, чудак, ее терял  
так, на ффу-ффу, на тары-бары.

Не ждя уже каких-то див,  
жил и рассеянно, и шало,  
когда она,  
опять простив,  
еще чего-то там свершала!



Высоконько над вспаханным полем  
распахнулся предел голубой.  
Чем же все-таки я недоволен?  
Недоволен я только собой.

Усыпительна дудка удода,  
безмятежно речное чело,  
а в душе  
ощущенье разброда,  
и раздерга, и бог весть чего.

Повторяю: природа прекрасна,  
на земле да и на небе ясно,  
а предчувствия, тягость, разлад —  
это я лишь во всем виноват!



Чем-то живопись эта меня утешала  
и в кругу своего притяженья держала  
серебристо-сиреневой дымкой своей.  
Сам художник задерганный был и заросший,  
и не в духе с утра,  
и клонился под ношей  
осужденья  
семьи, и родни, и друзей...

Были краски его так легки, сокровенны,  
что мерцаньем своим очищали от скверны,  
брали за руку, в горние сферы вели.  
А художник, задымленный серой щетиной,  
ни судьбой, ни месткомом родным  
не щадимый,  
оставался на тверди греховной земли.



Среди этих районных певцов,  
чья звезда, затуманясь, маячит,  
может, будущий ходит Рубцов  
и стихи  
в старом плащике  
прячет.  
Пусть блажит,  
пусть глядит в полутьму,  
окрыляемый скорбью невольной...  
Ради бога простите ему  
простодушие  
рифмы глагольной!



Обидел друга злым словом.  
Поотказали тормоза.  
И вот ловлю себя на том,  
что вдруг померкли небеса  
над головой.  
И день померк  
тотчас. Не радуют ничуть  
ни снега острый пересверк,  
ни женский смех,  
ни санный путь.  
Обидел друга. Одного.  
Но, оказалось, от него  
зависят, карою страша,  
пейзаж,  
гармония,  
душа.



Стихи такого толка,  
так коротки они,  
что я займу недолго  
внимание родни.

Всего одна тирада  
о том, что вновь и вновь  
не надо, о, не надо  
друг другу портить кровь!

Тонка уже, как волос,  
связующая нить  
с землей,

  где я еще раз  
навряд ли буду жить.



Юбилейная горячка!  
Жертву ищут,  
папки тащат,  
на виновника события  
из рядов глаза таращат.

Говорят, его идеи  
новизной какой-то блещут...  
Попозднее разберутся,  
а пока что — рукоплещут.

Именинник растерялся,  
слов ответных не отыщет.  
Между тем, как надо всеми  
время свищит,  
время свищит!



Заморожены струи небес  
и реки волевого движенье,  
и почти обеззвученный лес...  
Разморожено воображенье!

Дивный замысел мучит с утра,  
ищет выхода в краске и слове.  
Стынь, вода!  
Молкни, птица в дуброве!  
Ну, а нам за работу пора.



Хочется в небе вечернем  
добрые знаки прочесть  
или узнать с облегченьем  
позднюю добрую весть.  
Хочется сделать счастливой  
женщину хоть бы одну.  
Хочется личной кручиной  
не докучать никому.



Нескромно, конечно, оно,  
но все же мечтаешь о том, как  
словечко твое хоть одно  
повторено будет потомком.  
За счет электронных мозгов  
продлив голубые досуги,  
откроет ли книжку стихов,  
где наши сомненья и муки?

Вглядится ли в странный пейзаж,  
где марево трав шелестящих?  
Иль врубит похожий на наш,  
все так же мерцающий ящик?



Просто судьба посулила поездку,  
чудом о тайном желанье пронюхав,  
а уж ударил в мою занавеску  
ветер — разносчик пленительных слухов.  
А уж и небо прибавило блеску,  
как наблюдаем, летя в самолете.  
Солнце, недавнему ливню в отместку,  
вспомнило враз о забытой работе.  
Мир изменялся волшебю и резко,  
напомяная лазурную фреску...  
Вот что свершила еще не поездка —  
только, по сути, намек на поездку!



*И равнодушная природа...  
А. С. Пушкин*

Мне казалось,  
наступит зима,  
небеса над землею насупит,  
сапожком своим белым наступит  
на пруды, на сады, на дома  
и меня у тревоги откупит.

Сыпанула белейшим снежком,  
прокатилась на крыше трамвая

и пошла, все дворы заметая!  
И топочет своим сапожком  
прямо по сердцу,  
не замечая...



Пускай посвященья стоят над стихами:  
подруге, коллеге, товарищу, маме...  
Ведь прежде, чем чувству в тетради  
излиться,  
сияли нам самые милые лица.  
О, кто не мечтал посвятить свою лиру  
и маме-старушке,  
и граду, и миру!



Свободный взмах весла  
и яблонь доцветанье.  
Еще одна весна  
прощай и — до свиданья!

Грачиная возня  
над белыми садами.  
Еще одна весна  
прощай и — до свиданья!

Сединка у виска —  
намек из снежной дали.  
Еще одна весна  
прощай и — до свиданья!



Как трудно писать о себе,  
Да так, чтоб не врать ни на йоту,  
выискивать в личной судьбе,  
что знать интересно народу.  
Тут можно такого наплести!  
Смолчать, приукрасить, прибавить...  
Но есть самоценная честь:  
бесстрашно — как было — оставить.  
Как было! И помнить одно —  
негладко, а все-таки честно.  
Не столько народу оно,  
как, может, тебе интересно.



## ПРОСВЕТ В ТУЧАХ

Колодец голубой

в блокаде туч громоздких,  
ползущих наугад, округлых, дымных, плоских...  
Глядеть в его лазурь со звездочкой на дне —  
как память беречь надеждою былою.  
За несколько минут его затянет мглюю,  
но несколько минут он тешит душу мне.  
Мой грустный побратим, когда несносна ноша  
печалей и тревог, совет не вешать носа  
банален точно так, как и совет любой.  
Ты говоришь: «Оставь, отвратная погодка...»  
А я тебе: «Пусть так. Но трепетно и кротко  
как светится, гляди, колодец голубой!»

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>О СЕБЕ. Эмиль Январев</i> . . . . .	5
«Заботы дневные отторгнув...» . . . . .	6
«О быстротечность мига!» . . . . .	7
Городская баллада . . . . .	8
«Мне почему-то не нравятся эти ребята...» . . . . .	9
Жигарин автобус ведет . . . . .	10
Молния . . . . .	11
«Опять у неба нелады...» . . . . .	12
Переводчик . . . . .	13
«Вот Нева. Я гляжу на Неву...» . . . . .	14
«Суетою сует замордованный...» . . . . .	15
Встречи с другом . . . . .	16
«О, наших мнений стычки...» . . . . .	17
Осенние танцы . . . . .	18
«До чего я в этих травах долежался...» . . . . .	20
«По тропинкам лесным куролеся...» . . . . .	21
«Ремесленников звали «ремесло» . . . . .	22
«Итак, отчалил сухогруз...» . . . . .	23
Новый дом на окраине . . . . .	24
Как загорают шахтеры . . . . .	25
Свадебное . . . . .	26
«Я еще уступаю места старикам...» . . . . .	27
«Варят кофе в гостях...» . . . . .	28
Старая аллея . . . . .	29
Баба Липа . . . . .	30
Портрет художника . . . . .	31
Из латышской тетради	
1. Юрмала . . . . .	32
2. Диалог . . . . .	32
3. Старая Рига . . . . .	33
4. По мотивам старинных дайн . . . . .	33

«Раньше как человек уходил...» . . . . .	36
Сын . . . . .	37
Зов . . . . .	39
Без матери . . . . .	41
«Домашний гений и мудрец...» . . . . .	43
Оформление рукописи . . . . .	44
«До прощального грома, до ливня...» . . . . .	46
«Привыкший к ежедневным дивам...» . . . . .	47
«На все, как кисея...» . . . . .	48
«Меня спрашивают...» . . . . .	49
В общем вагоне . . . . .	50
«Каждое утро...» . . . . .	51
«Дочь возникла из ночной темноты...» . . . . .	52
В прачечной . . . . .	53
«Измельчанье приходит не сразу» . . . . .	54
Как быстро . . . . .	55
«Уже на деревьях...» . . . . .	56
Открытый урок . . . . .	57
Календарь . . . . .	58
«Вдруг вспомнил...» . . . . .	58
«Уже чешуйка сосняка...» . . . . .	58
«Эти клены...» . . . . .	59
«О счастья крохотный намек!» . . . . .	59
«Ну и жарница!» . . . . .	60
«Что толку выискивать боль...» . . . . .	60
«Ах, девочка эта!» . . . . .	60
«Мимо рынка, мимо стройки...» . . . . .	61
«...И хотя безнадежно тону...» . . . . .	61
«Наконец, удостоен — хула!» . . . . .	62
«После лета земля остывает...» . . . . .	62
«Глазами в глаза...» . . . . .	63
«Ни рассказывать...» . . . . .	63
«За больничным окном — благодать...» . . . . .	63
«Еще такое в жизни...» . . . . .	64
«Давай после распри дневной...» . . . . .	64
«Ты можешь преподавать...» . . . . .	65

«Как там было?» . . . . .	66
Довоенная купальня . . . . .	67
Воспоминание о турнике . . . . .	68
Молодые поэты накануне войны . . . . .	69
Баллада о валюте (1941) . . . . .	70
«На станции, богом забытой...» . . . . .	71
«Юнкерс» тенью рыскал по стерне...» . . . . .	72
Из детства . . . . .	73
Воспоминание об облаках . . . . .	74
Воспоминание о Бек-Мурзе (1941) . . . . .	75
Этюд 42 года . . . . .	77
Песня . . . . .	78
«Когда я был мальчишкой-азиатом...» . . . . .	83
Станция Ртищево (1944) . . . . .	84
Как гадали в Улашановке . . . . .	86
«Книг, прочитанных в сорок четвертом году...» . . . . .	87
День Победы и Лешка . . . . .	88
«В сорок пятом дожди не лили...» . . . . .	89
Мельпомена 45-го . . . . .	90
Возвращение Якова Туркина (1945 г.) . . . . .	92
Воспоминание о первом поцелуе . . . . .	94
Субботник . . . . .	95
Судьба . . . . .	96
Фронтвые подруги . . . . .	97
Танцы Лины Акуловой . . . . .	98
Воспоминание о тирах . . . . .	100
Воспоминание о чертежнике (1946) . . . . .	101
Эхо . . . . .	103
Кино в отрочестве . . . . .	104
Воспоминание о недочитанной пьесе . . . . .	105
Человек, собирающий пряники . . . . .	107
Сверстница . . . . .	108
Как я писал стихи по заказу . . . . .	109
Баллада польского кино . . . . .	111
Уроки фотографии . . . . .	113
Взгляд со стороны . . . . .	115

Детдомовский поэт (1947) . . . . .	117
Мальчик . . . . .	119
Другая жизнь . . . . .	120
Свидание . . . . .	122
«Помнишь, мы были...» . . . . .	123
Лиственная метель . . . . .	124
«Покуда молчат самолеты...» . . . . .	125
Двадцать лет назад . . . . .	126
«Наслаждаюсь водой проливною...» . . . . .	127
«Как золотисто распвечен листочек!» . . . . .	128
«Холодно, безоблачно, пустынно...» . . . . .	129
«Я жить хочу, как все!» . . . . .	130
«Негражданских поэтов в Отечестве нет!» . . . . .	132
Как Довженко снимал «Землю» . . . . .	133
Костыль . . . . .	135
К вопросу о склерозе . . . . .	136
Просцениум . . . . .	138
Баллада о регламенте . . . . .	139
Линия . . . . .	141
«Как по жизни помотало...» . . . . .	142
Проводы . . . . .	143
Воспоминания о соседской Акулине	
1. Магнитофонная пленка 1950 года . . . . .	144
2. К вопросу о языке . . . . .	145
Мой Копытин . . . . .	146
Встреча с братом . . . . .	147
Последний кадр фильма «Печки-лавочки» . . . . .	148
За нею . . . . .	149
Праздник двора . . . . .	150
Общая тетрадь . . . . .	151
Благодарность . . . . .	152
Похороны старого футболиста . . . . .	154
«Что тут копыя ломать...» . . . . .	155
Маленькая скульпторша . . . . .	156
Из стихотворений о дочери	
1. «Во первых строках...» . . . . .	157

2. «Вот мы снова до осени дожили...» . . . . .	157
3. «За окном снега летели...» . . . . .	157
4. «Не сходит смех с дочернина лица!» . . . . .	158
5. Зимние каникулы . . . . .	159
6. «Подруги дочери моей...» . . . . .	159
7. «Дочь! Когда поезд...» . . . . .	160
<b>После Чернобыля (Июнь, 86)</b> . . . . .	161
<b>«Прозрачны коридоры просек!»</b> . . . . .	162
<b>«Пока я впечатленья просевал...»</b> . . . . .	163
<b>«Здесь раньше дом стоял...»</b> . . . . .	164
<b>«Уж осень расставляет по холмам...»</b> . . . . .	165
<b>«Так медленно светало...»</b> . . . . .	166
<b>Под Киевом</b> . . . . .	167
<b>Сентябрь в Еланце</b> . . . . .	168
<b>«Разве любую строчку я предавал бумаге?»</b> . . . . .	169
<b>«Давно под асфальтом схоронены травы...»</b> . . . . .	170
<b>«Нотонул трамвай...»</b> . . . . .	171
<b>Примечание к путеводителю</b> . . . . .	172
<b>К вопросу об известности</b> . . . . .	173
<b>Настина юность</b> . . . . .	175
<b>У самого моря</b> . . . . .	176
<b>«В полсотне шагов от вокзала...»</b> . . . . .	178
<b>«Растворила речная вода...»</b> . . . . .	179
<b>«Как за окнами стонут деревья...»</b> . . . . .	180
<b>«Длинные льдины Ингула...»</b> . . . . .	181
<b>Обида</b> . . . . .	182
<b>«Такая тугая была тишина...»</b> . . . . .	183
<b>Из стихотворений об отце</b>	
1. « — Пиши мемуары, — отца я просил.» . . . .	184
2. «Слабым голосом отец...» . . . . .	184
3. «Вопросы подобного рода...» . . . . .	185
4. «Отцу приснился младший брат умерший...» . . . . .	186
5. «Я знаю каждую черту...» . . . . .	186
6. «Окрестность, потонувшая в дожде...» . . . . .	187
7. «На склоне стариковских лет...» . . . . .	187
8. «До болезни отцовской...» . . . . .	188

Высказаться! . . . . .	189
«Пишу для хроникального кино» . . . . .	190
«Что голос был — и вдруг пропал...» . . . . .	191
«У соседа ремесло...» . . . . .	192
«Еще один сосед...» . . . . .	193
У телефона . . . . .	194
Студия . . . . .	195
«Как зыбкий полусвет...» . . . . .	196
«Может, правда, я старею...» . . . . .	197
Притча о двух зайцах . . . . .	198
Живописцам . . . . .	200
«В прошлом друзья...» . . . . .	201
«Нет, никогда я не буду...» . . . . .	202
«Так получалось...» . . . . .	203
Под горячую руку . . . . .	204
Встреча в Киеве . . . . .	205
«От хрустально-мебельного дива...» . . . . .	206
«Одинокая женщина в сквере пустом...» . . . . .	207
Мера сил . . . . .	208
«Льетса дождь...» . . . . .	209
Почерк . . . . .	210
Муза . . . . .	211
«Взбешённый от бледных чернил...» . . . . .	212
Кинбурнский блокнот	
1. «Над хатой рыбацкой...» . . . . .	213
2. Звезды . . . . .	213
3. «Ни окрика, ни зова...» . . . . .	214
4. Кучугура бабы Домны . . . . .	215
5. «Уводит побережье...» . . . . .	216
6. Баллада Парфентия Бородина . . . . .	216
7. «Когда баркас трещит, как ящик...» . . . . .	217
«Сколько радости было отпущено...» . . . . .	219
Прощание с вечерней школой . . . . .	220
«Меня уж в лицедеи не зачислить...» . . . . .	221
«Два ангела в больничном коридоре...» . . . . .	222
Сожаление о гитаре . . . . .	223

<b>Коридор музучилища . . . . .</b>	<b>224</b>
<b>«Ты пока и свеж, и молод...» . . . . .</b>	<b>225</b>
<b>«Сутулы и ворчливы...» . . . . .</b>	<b>226</b>
<b>«Мне видится рассвет...» . . . . .</b>	<b>227</b>
<b>К переезду больницы в новое здание . . . . .</b>	<b>228</b>
<b>Новая весна . . . . .</b>	<b>229</b>
<b>Баллада о ковровой дорожке . . . . .</b>	<b>230</b>
<b>«Провидцем я не был...» . . . . .</b>	<b>231</b>
<b>Дневник</b>	
<b>«Птицы тем еще привлекали...» . . . . .</b>	<b>232</b>
<b>«Душа — непрочный матерьял...» . . . . .</b>	<b>232</b>
<b>«Высоконько над вспаханным полем...» . . . . .</b>	<b>233</b>
<b>«Чем-то живопись эта меня утешала...» . . . . .</b>	<b>233</b>
<b>«Среди этих районных певцов...» . . . . .</b>	<b>234</b>
<b>«Обидел друга злым словом» . . . . .</b>	<b>234</b>
<b>«Стихи такого толка...» . . . . .</b>	<b>235</b>
<b>«Юбилейная горячка!» . . . . .</b>	<b>235</b>
<b>«Заморожены струи небес...» . . . . .</b>	<b>236</b>
<b>«Хочется в небе вечером...» . . . . .</b>	<b>236</b>
<b>«Нескромно, конечно, оно...» . . . . .</b>	<b>236</b>
<b>«Просто судьба посулила поездку...» . . . . .</b>	<b>237</b>
<b>«Мне казалось...» . . . . .</b>	<b>237</b>
<b>«Пускай посвященья стоят над стихами...» . . . . .</b>	<b>238</b>
<b>«Свободный взмах весла...» . . . . .</b>	<b>238</b>
<b>«Как трудно писать о себе...» . . . . .</b>	<b>239</b>
<b>Просвет в тучах . . . . .</b>	<b>240</b>



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

**ЯНВАРЕВ Эмиль Израилевич**

**ОЛЬВИЙСКИЙ ПРИЧАЛ**

Стихотворения

**Художник М. М. Вакуленко**  
Художественный редактор **О. М. Коспа**  
Технические редакторы **О. Н. Грищенко,**  
**П. Д. Цуркан**  
Корректор **Н. И. Харчук**

ИБ № 4988

Сдано в набор 13.08.90.

Подписано в печать 03.10.90.

Формат 70×100<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 1.

Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая.

Усл. печ. л. 10,075. Усл. кр.-отт. 10,238. Уч. изд. л. 7,109.

Тираж 4400. Зак. 0—228. Цена 1 руб. 10 к.

Издательство художественной литературы  
«Днипро».

252601, Киев-ГСЦ, ул. Владимирская, 42.

Киевская книжная фабрика «Жовтень».  
254655, ГСП, Киев-53, ул. Артема, 25.



